ФРАНЦУЗСКИЕ ПИСАТЕЛИ В ОЦЕНКАХ ЦАРСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

Очерки И. Айзенштока

Публикация материалов Л. Полянской и И. Айзенштока

История царской цензуры до сих пор не написана, и хотя материалов для нее собрано немало, нельзя сказать, что в понимании этой истории мы далеко ушли от анекдотическо-беллетристических воспоминаний, от буржуазно-либеральных схем и штампов, имеющих уже многолетнюю и малопочтенную давность. Еще в 1904 г. М. Ольминский в осторожных терминах, рассчитанных на придирчивое внимание как строгой цензуры, так и всеведущего жандармского управления, выразил мысль, что «причины той или иной системы действий по отношению к печати нужно искать не в произволе лиц и учреждений, а в условиях, которые определяют общий характер жизни в стране,—в той стадии экономического развития, на которой стояла жизнь народа» (статья «Свобода печати» в журнале «Правда», 1904, № 10). Эта мысль,—о классовом характере всего законодательства о печати (и, в частности, конечно, о классовом характере цензуры), о необходимости изучения всей с и с т е м ы царской цензуры, как аппарата классового господства и угнетения, не ограничиваясь собиранием отдельных фактов цензурного произвола, коллекционированием анекдотических «подвигов» отдельных цензоров,—эта мысль в настоящее время едва ли вызовет среди советских исследователей принципиально какие-либо возражения. Между тем, п р а к т и ч е с к и изучение царской цензуры до сих пор продолжает итти именно по этому порочному пути, давая лишь более или менее яркие бытовые иллюстрации для историка русской литературы и общественной мысли. В большинстве работ по истории царской цензуры, вплоть до сегодняшнего дня, почти вовсе отсутствует изучение самого существа, организма царской цензуры, как аппарата классово-политического гнета, как одного из орудий жандармско-полицейского управления вопросами культуры и, в частности, литературы. И если до недавнего времени ощутительным и явным препятствием для изучений подобного рода являлся довлевший в исторической науке схематизм школы Покровского, то сегодня эти изучения должны, очевидно, занять свое место в ряду иных конкретных исторических изучений, настоятельную необходимость которых подчеркивают известные постановления ЦК ВКП (б). В частности, изучение царской цензуры может существенно помочь уяснению «контрреволюционной роли русского царизма во внешней политике со времени Екатерины II до пятидесятых годов XIX столетия и дальше («царизм, как международный жандарм»)» (замечания товарищей И. Сталина, А. Жданова, С. Кирова по поводу конспекта учебника по истории СССР).

В самом деле, для развития тезиса о контрреволюционной роли русского царизма во внешней политике история царской цензуры дает достаточно яркие и убедительные материалы. Именно на цензуру,—точнее, на целый ряд учреждений и установлений, носивших цензурные функции,—ложилась в общей бюрократической системе Российской империи задача борьбы с «революционной заразой», заносимой извне,

с Запада, борьбы с теми идеологическими влияниями, которые могли породить в умах «благополучных россиян» какие бы то ни было сомнения в незыблемости, непреложности существующего строя, существующего порядка вещей. Борьба эта в разные времена приобретала различные формы, проводилась под различными лозунгами и в различных видах, но по смыслу своему всегда оставалась борьбой реакционных, охранительных сил с прогрессивными, демократическими и, тем более, революционными веяниями и настроениями, просачивавшимися в царскую Россию, несмотря на всяческие—явные и тайные—преграды и рогатки.

В настоящей работе мы используем материалы французской литературы в отражении и преломлении царской цензуры почти за весь период ее существования. Сделать это тем более интересно и полезно, что именно французская литература всегда являлась в представлении правящих кругов царизма носительницей прогрессивных, буржуазно-демократических идей и настроений, особенно для них ненавистных, особенно ими преследуемых.

Предлагаемая вниманию читателя работа является первой в литературе сводкой и одновременно первой систематической публикацией обширных материалов царской цензуры о произведениях французских писателей. Это обстоятельство, в ряде случаев, не могло не отразиться отрицательно на полноте и яркости содержания публикации. Еще далеко не все материалы, относящиеся к нашей теме, выявлены и учтены. Однако, общую картину отношения царской цензуры к главным направлениям и крупнейшим именам французской литературы наши материалы дают, а показать эту картину, хотя бы и неясную еще в ряде деталей, и являлось нашей основной задачей в данной работе.

Публикуемые документы в подавляющем большинстве хранятся в Архиве внутренней политики, культуры и быта Ленинградского отделения Центрального исторического архива РСФСР (ЛОЦИА), в фондах Центрального (до 1893 г. С.-Петербургского) комитета цензуры иностранной, С.-Петербургского цензурного комитета, Главного управления по делам печати, Главного управления цензуры и Драматической цензуры (в том числе цензурной экспедиции III отделения собственной е. и. в. канцелярии). Отдельные документы извлечены нами из других хранилищ, а также из печатных публикаций.

I. ВОЛЬТЕР—РУССО—ДИДРО

Широкое знакомство русского читателя с французской литературой начинается в середине XVIII в., когда могучей волной хлынули переводы французских романов, когда французская просветительная философия, в своих наиболее выдающихся представителях, начинает находить горячих и активных русских адептов, когда впервые галломания перерастает рамки чисто литературного увлечения и входит в быт.

Строгие ревнители литературных канонов относятся к этому потоку французской беллетристики с большим предубеждением, отказывая ей, вслед за Ломоносовым, в какой бы то ни было художественности (французские романы,—писал Ломоносов,—«все составлены от людей неискусных и время свое тщетно препровождающих»), считают, что она служит «только к развращению нравов человеческих и к вящему закосновению в роскоши и плотских страстях»[1]. Но эти единичные голоса, эти строгие и суровые оценки совершенно теряются в более широких увлечениях и не оказывают сколько-нибудь ощутительного влияния на дальнейшее распространение в России французских романов.

Еще более поразительна распространенность увлечения французской просветительной философией, получившей в обиходе ходячее название «вольтерьянства». Если для небольшой кучки представителей дворянской фронды «вольтерьянство» явля-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ „ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ" ВОЛЬТЕРА В ПЕРЕВОДЕ В. ЗАЙЦЕВА, 1868 г., ПОДВЕРГАВШЕГОСЯ РЕЗКИМ НАПАДКАМ ДУХОВНОЙ ЦЕНЗУРЫ

ФИЛОСОФІЯ

ИСТОРІИ

СОЧИНЕНІЕ

Фр. М. ВОЛЬТЕРА

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

В. ЗАЙЦЕВА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1868

лось, как показал недавно Г. А. Гуковский, идейным оружием в политической борьбе за расширение прав «народа», т. е., в основном, дворянства же, и основывалось на глубоком и тщательном изучении источников[2], то для большинства читателей увлечение это было только внешней данью моде и зачастую имело своей основой лишь поверхностное знакомство с одной-двумя случайными книгами. Казанова рассказывает,— и в данном случае мы можем ему поверить, ибо его рассказ подтверждается другими мемуаристами,—что русский перевод «Философии истории» («Philosophie de l'histoire») Вольтера, посвященной Екатерине II, был раскуплен в течение недели. «Каждый русский, читающий по-французски, носил книгу в кармане, словно молитвенник или катехизис. Особы высшего круга только и бредили Вольтером и божились не иначе, как его именем. Прочитав его, они считали себя обладателями знаний самобытных и всесторонних, почти наравне со своим учителем... Фернейский патриарх был в их глазах—альфа и омега всякого знания и всякой премудрости»[3].

Это увлечение французской литературой и философией, как известно, возглавлялось и поощрялось самой Екатериной; однако, размеры, которые приняло это увлечение, заставили ее, уже в самом начале царствования, задуматься о средствах его ограничения, об установлении специальной цензуры ввозимых в Россию (и переводимых безвозбранно) книг. «Слышно,—писала она в именном повелении генерал-прокурору Глебову 6 сентября 1763 г.,—что в Академии Наук продают также книги, которые против закона, доброго нрава, нас самих и российской нации, которые во всем свете запрещены, как например: Эмиль Руссо, Мемории Петра III, Письма жидовина по французскому и много других подобных. А у вольных здешнего и московского городов книгопродавцов, думать надобно, что еще более есть таких книг, которые служат к преобращению нравов, по той причине, что оные лавки ни под чьим ведомством не состоят. И так надлежит приказать наикрепчайшим образом Академии Наук

иметь смотрение, дабы в ее книжной лавке такие непорядки не происходили, а прочим книгопродавцам приказать ежегодно реестр посылать в Академию Наук и университет московский, какие книги они намерены выписывать, а оным местам вычернивать в тех реестрах такие книги, которые против закона, доброго нрава и нас. А если после того сыщется преступник сему в продаже таких книг, то конфисковать всю лавку и продать на счет сиропитального дома»[4].

Академия наук, не осмеливаясь ослушаться царского приказа, приняла на себя цензурные функции, выработав свои «предложения» для борьбы с ввозом «вредных» книг; «предложения» эти заслуживают внимания, как первая попытка сформулировать признаки «вредной» книги, подлежащей условному или безусловному запрещению. К последним Академия предполагала относить лишь следующие: «1) которые явно опровергают основания христианской веры и гражданского общества, 2) соблазнительные и честные нравы повреждающие, 3) пасквили и сатирические сочинения, предосудительные государству и чести народной или некоторым персонам особливо». «К сумнительным книгам,—говорилось дальше в «предложении»,—о которых должно наперед доложиться и истребовать повеления, причтены быть могут особливо из политических те, в которых сочинители, либо по пристрастию какому-либо, либо по неимению достовернейших известий, ложно писали о России. Однако, благоразумие советует, чтобы, последуя в том примеру других государств, не причислять их к действительно запрещаемым, а наблюдать только, чтоб на продажу вывозимы не были». Наконец, совсем не подлежат, по мнению Академии, запрещению такие книги, «которые в основаниях своих хотя не сходствуют с нашею формою правления, или со мнениями восточной церкви, однако, дозволены во всех европейских и христианских землях; також прежних и нонешних времен писатели исторические и политические, которые между прочими и в Европе достопамятными приключениями, упоминая и о России, погрешили незнанием, или писали, утверждаясь на ложных и пристрастных известиях, а хотя бы наконец и нашлось, что о явно прошедших временах предосудительное, однако, разумные читатели тем тронуты не будут, особливо, когда прочее, к знанию полезное, несравненно превосходить будет усмотренные неисправности»[5].

Эта апелляция к «разумным читателям», чрезвычайно характерная для всей эпохи, еще яснее выступала в заключительных пунктах «предложения», где говорилось: «За твердое правило принять можно, что добродетельно воспитанные и страх божий в сердце имеющие люди, хотя б каким случаем и попались им в руки подлежащие запрещению книги, тем не поколеблются в благонравии и в должностях своих к закону и обществу, а злонравные—и без читания оных к худым делам и развращенным мнениям всегда поползновение иметь будут». Не менее характерно было и утверждение о том, что «успехам наук и просвещению человеческого разума ничто столько препятствовать не может, как отнятие свободности в читании всяких книг»[6].

Во всяком случае, никаких сколько-нибудь ощутительных результатов эта ранняя попытка цензурной борьбы с иностранными, в основном французскими, книгами не имела, да и не могла иметь, поскольку самые цензурные функции навязывались Академии наук, не имевшей в своем распоряжении соответствующего цензорского аппарата и нисколько не заинтересованной в каком-либо ограничении как ввоза самих иностранных книг, так и русских их переводов. В течение ряда лет борьба со всякого рода вольнодумством, «вольтерьянством» выражалась исключительно в отдельных нападках на «энциклопедистов» и «свободных философов», нападках, направленных с церковной кафедры или из некоторых журнальных редакций (например, «Собеседник» и др.).

Впрочем, несмотря на эту относительную свободу, сами переводчики далеко не всегда решались на полный перевод того же Вольтера и зачастую фактически оказывались теми же цензорами, устранявшими из переводимых произведений всё казав-

шееся им недопустимым, даже присочинявшими новые эпизоды, новые примеры в философских рассуждениях и, таким образом, существенно изменявшими самое существо вольтеровского творчества. Так, например, в статье «Утешение в печали» («Смесь», 1769, лист II, стр. 9 и сл.), являющейся переводом-переделкой «Les deux consolés» Вольтера, переводчик выпустил ряд исторических примеров несчастной судьбы некоторых высокопоставленных женщин: рассказ об Анне Неаполитанской заменен в переводе рассказом о казни Анны де Булен (Анны Болейн), рассказ же о приключениях государыни, которая была низвергнута с престола ночью, после ужина, и умерла на пустынном острове (Вольтер имел здесь в виду правительницу Анну Леопольдовну), был и вовсе исключен. Одновременно в переводе совершенно пропал иронический тон рассказов Вольтера, скрытая насмешка над всеми теми высокопоставленными особами, о чьих судьбах он повествует. В той же «Смеси» (1769, лист III, стр. 17 и сл.) помещена «Индейская повесть»—перевод «Aventure indienne» Вольтера. В переводе наново присочинен весь конец рассказа—вместо оригинального окончания, в котором Вольтер смеется над духовенством, глумится над рассказами писания, издевается над религиозными догматами и т. д. Насколько строгой в данном случае оказалась цензура переводчика, видно хотя бы из того, что оба произведения Вольтера были несколько позднее беспрепятственно переведены полностью Рахманиновым в томе «Аллегорических, философических и критических сочинений г. Вольтера» (СПб. 1784)[7].

Очевидно, в данном случае имели место недоверие к «либерализму» правительства, допускавшего, как будто, без специальной цензуры переводы большинства произведений Вольтера, неуверенность в возможности их свободного распространения в России. Симптоматичной поэтому представляется нам позднейшая (1793 г.) жалоба Е. Болховитинова (впоследствии известного митрополита Евгения) на широкое распространение «письменного Вольтера»: «Любезное наше отечество,—писал он,—доныне предохранялось еще от самой вреднейшей части вольтерова яда, и мы в скромной нашей литературе не видим еще самых возмутительных и нечестивейших вольтеровых книг; но, может быть, от сего предохранены только книжные наши лавки, между тем как сокровенными путями повсюду разливается вся его зараза. Ибо письменный Вольтер становится у нас известен столько же, как и печатный»[8]. И распространенность «письменного Вольтера»,—а наряду с ним и Руссо, и энциклопедистов,—становилась всё большей по мере того, как «либеральные» настроения Екатерины испарялись под влиянием крестьянских восстаний, затем Французской революции, по мере того, как в литературе усматривала она источники политического вольнодумства.

В последние годы жизни Екатерины на имя П. Д. Еропкина отправляется особый рескрипт «не печатать новое издание сочинений Вольтера без цензуры и апробации московского митрополита»[9], а через генерал-прокурора Самойлова посылается в Тамбов предписание конфисковать полное собрание вольтеровских произведений (упоминавшийся выше перевод Рахманинова), как «вредных и наполненных развращением»[10]. И, отвечая волне реакционных веяний и резкому поправению правительственного курса, в литературе появляется целый поток памфлетов, переводных и собственного, отечественного производства, направленных против «энциклопедистов» и «свободных философов» и, в первую очередь, против самого Вольтера. Поток этот захватывает и начало нового века[11].

Наряду с этим намечаются и более широкие, уже собственно цензурные, мероприятия, направленные, с одной стороны, к недопущению слишком подробных и откровенных сообщений о событиях во Франции, с другой—к дальнейшему ограничению ввоза иностранных книг, как источника вольнодумства и революционных настроений. Так, например, в 1791 г. «Санктпетербургские Ведомости» получили предписание «сократительнее переводить о суматохе, во Франции ныне царствующей, и не упускать прибавлять известие или примечание, колико их колобродство им самим вредно»[12]. А год

спустя небезызвестный князь А. Прозоровский «всеподданнейше просил» Екатерину (письмо от 20 мая 1792 г.), чтобы она «повелеть изволила» «положить границы книгопродавцам книг иностранных и отнять способы еще на границах и при портах подобные сему книги вывозить, а паче из расстроенной ныне Франции, служащие только к заблуждению и развратy людей, не основанных в правилах честности». И дальше: «Я хотя все меры к сему взял, всемилостивейшая государыня, но довольно способов не достает совершенно еще удержать, паче потому, что они [книгопродавцы] таковые книги продают скрытно, а тем вводят многих в любопытство их покупать, и, без ошибки сказать, всемилостивейшая государыня, можно, что все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрытно купить можно»[13].

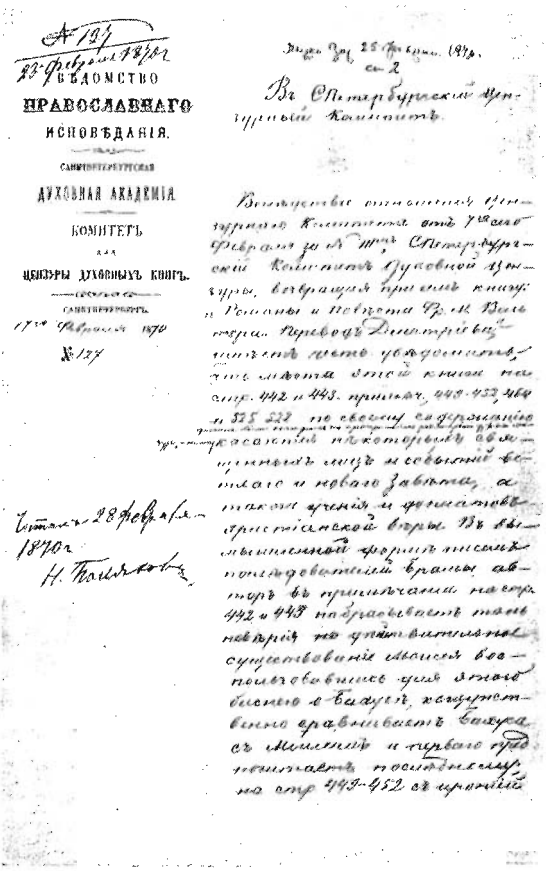
Нам неизвестны в точности практические результаты этих предложений; повидимому, дело не пошло далее отдельных, более или менее случайных запрещений и конфискаций, силами полиции, без специальной организации самостоятельного цензурного аппарата. И только в 1796 г. «в прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг», был издан указ об учреждении в ряде городов цензур как для просмотра книг, печатающихся внутри империи, так и привозимых из-за границы. В отношении этих последних указ гласил, что «никакая книга не может быть ввезена без подобного осмотра», и предлагал «подвергать сожжению» те из книг, «кои найдутся противными закону божию, верховной власти, или же развращающие нравы»[14]. В виде комментария к последним словам, можно указать, что в современной охранительной печати (например, в предисловии к «Новейшему повествовательному землеописанию всех четырех частей света», СПб. 1795), в качестве наиболее характерных примеров книг, «поглощающих ум и благонравие растлевающих», назывались «Фоблазы..., Новые Элоизы, Кандиды и т. д.», т. е. преимущественно произведения всё той же французской литературы.

Практически мероприятия, предусмотренные указом 1796 г., были осуществлены уже в новое царствование, по непосредственным указаниям самого Павла, ненависть которого к иностранным книгам и, в особенности, к «французской заразе» слишком общеизвестна, чтобы о ней следовало еще распространяться. Не довольствуясь уже принятыми мерами, Павел дает 17 мая 1798 г. именной указ Сенату: «О устроении цензуры при всех портах; о непропуске без позволения оной привозимых книг и о наказании за непредставление цензорам получаемых газет, или иных периодических сочинений и за пропуск вредных книг»—указ, всецело направленный против французской политической прессы и французской литературы. «Правительство, ныне во Франции существующее, желая распространить безбожные свои правила во все устроенные государства, ищет развращать спокойных обитателей оных сочинениями, наполненными зловредными умствованиями, стараясь те сочинения разными образами рассеивать в обществе, наполняя даже оными и газеты свои». «Подтверждая ныне прежде сего состоявшиеся указы о сочинениях французских, под именем Монитера известных, да и других такого рода издаваемых вообще в областях под обладанием Французским состоящих, видя также, что многие газетчики отступают от прямой цели должности своей и ищут, по подущению и французов, или же по собственным своим дурным расположениям, подражать им, и что, к сожалению, власти некоторые взирают на сие спокойным духом», указ предписывал ряд строгих запретительных мер против проникновения французской прессы в пределы Российской империи, подчеркивая, что за ослушание будут подвергаться строжайшим наказаниям как лица, непосредственно получающие или провозящие французские газеты, так и начальствующие в почтамтах и цензоры, «коль скоро пропустят вообще сочинения в местах под обладанием Французским составленные, или же другие, в коих найдется что-либо оскорбляющее закон божий, верховную власть и общее устройство»[15]. Некоторое же время спустя, 18 апреля 1800 г., новым указом был и вовсе воспрещен

ввоз иностранных книг: «Так как чрез вывозимые из заграницы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне впредь до указа повелеваем запретить впуск из заграницы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку»[16].

На практике установление строгого цензурного заслона от Запада и Франции, прежде всего, привело к небывало резкому увеличению контрабандного провоза и распространения литературы из-за границы. Контрабанда просачивалась отовсюду, и никакие рогатки, никакие запреты остановить ее не были в силах. «И так как,—говорит Шторх,—итти на такой риск, какой связывался с ввозом книг, стоило только для самых пикантных вещей, то строгость мер была причиной, что из всех литературных произведений приходили в империю только такие, по поводу которых запрещение и было, главным образом, сделано. Некоторые букинисты, в числе которых были также и эмигранты, занимались этим опасным, но прибыльным промыслом с неслыханною смелостью. Их склады были известны почти всякому, и, однако, не нашлось ни одного доносчика»[17].

Особенно свирепствовала рижская цензура, через которую, главным образом, и проходили иностранные книги и которой ведал Ф. О. Туманский, первым из цензоров удостоившийся своеобразного бессмертия за свои цензурные «подвиги». Вот несколько заключений его о французских книгах. О «Нравственных рассказах» А. Лафонтена: «Довлеет воспретить; на стр. 159 автор осмеливается говорить о постыдности искать чинов, унижая себя перед златом, или высшею степенью негодяя». О книге Prudhomme «Les crimes des reines de France, depuis le commencement de la monarchie, jusqu'à Marie



ВЕДОМСТВО ПРАВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМІЯ

КОМИТЕТЪ ДЛЯ ЦЕНЗУРЫ ДУХОВНЫХЪ КНИГЪ.

№ 137

Въ С.Петербургскій цензурный Комитетъ

ОТНОШЕНИЕ КОМИТЕТА ДЛЯ ЦЕНЗУРЫ ДУХОВНЫХ КНИГ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1870 г. В ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЗЪЯТИЯ РЯДА СТРАНИЦ ИЗ КНИГИ „РОМАНЫ И ПОВЕСТИ ВОЛЬТЕРА. ПЕРЕВОД ДМИТРИЕВА"

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

Antoinette»: «Титул книги, мотто под заглавною карикатурою и приложенные изображения доказывают дерзкую и злобную цель, так что ни единой страницы без содрогания читать было нельзя, следственно, выписывать дерзости—было бы переписывать книгу»[18].

Для правильной оценки этих заключений, производящих в настоящее время несколько юмористическое впечатление, необходимо сделать поправку на общеизвестные нравы павловской администрации, по сравнению с которыми даже позднейшие николаевские порядки казались какой-то законностью. И, однако, наряду с этой жестокостью, соединенной с мелочной придирчивостью, павловская цензура сплошь да рядом допускала «промахи», трудно объяснимые в настоящее время без учета всех сопровождавших их обстоятельств. Так, тот же Туманский представил к запрещению знаменитый трактат Ж.-Ж. Руссо «Du contrat social ou principes du droit politique», указывая коротко: «Известно, что мнимое равенство во французской революции большею частию из сей книги заимствовано». Но Петербургский цензурный совет, под председательством князя А. Б. Куракина, нашел, что книга эта может быть пропущена, «яко принадлежащая к сочинениям Руссовым, которых привоз и продажа были равномерно свободны, а потому, конечно, и есть уже они здесь во многих собраниях книжных». Подобным же образом, отвечая на запрос петербургской цензуры о том, как ей поступать с сочинениями Вольтера, совет решил, что так как «до сего времени сочинения Вольтера были ввозимы в Россию в великом множестве экземпляров и находятся во всех книжных магазинах и библиотеках, то преграждением дальнейшего ввоза их не будет достигнута цель», а потому совет и постановил поступать с ними, как с сочинениями дозволенными. Лишь после непосредственного вмешательства самого Павла совет изменил свою точку зрения и запретил безоговорочно все сочинения Вольтера[19].

Не останавливаясь на ряде последующих гонений на Вольтера, «вольтерьянство» и на сочинения французских энциклопедистов, заметим лишь, что и значительно позже произведения их неизменно ассоциировались с идеями политического и религиозного свободомыслия, с призраком революции вообще, пугавшим воображение самодержавной императорской России.

В 1850 г. министр народного просвещения, князь Ширинский-Шихматов, представлял «всеподданнейший доклад» о затруднениях, встреченных цензурой при дозволении нового издания, в собрании сочинений Екатерины II, ее писем к Вольтеру и доктору Циммерману, изданных уже прежде, в 1802—1803 гг. «Цензор, рассматривавший эту переписку,—докладывал министр,—встретил затруднение в одобрении к напечатанию многих мест, заключавших в себе или выражение нескромных похвал Вольтеру и сочинениям его, или шутки и остроты в отношении к предметам, тесно связанным с нашими религиозными убеждениями». Особую пикантность этому отзыву цензора придавало то обстоятельство, что дело шло о письмах российской императрицы, действия и писания которой, казалось бы, не должны были подлежать какому бы то ни было цензурному контролю. Николай I, ненавидевший Екатерину, личным вмешательством запретил новое издание ее переписки с Вольтером, «в чем и не настоит особенной надобности»[20].

В 1852 г. секретный Бутурлинский комитет в книге свящ. Н. Сокольского «Всеобщая гражданская история для классического и домашнего употребления»—учебнике для духовных семинарий — нашел «несоответственным и цели учебной книги и званию автора» главу, посвященную философии XVIII в. «Здесь говорится, между прочим, что в философии прославились: Юм, Фихте, Гельвеций, Руссо, Вольтер и множество сочинителей больших энциклопедий. Но Руссо, Вольтер и другие из поименованных известны, как разрушители верований, как отрицатели божественного учения церкви; и потому не странно ли, что пастырь церкви относит труды их к усовершенствованию философии»[21].

В этом же направлении усиленного подчеркивания антирелигиозных настроений Вольтера шли и позднейшие цензурные высказывания о нем, исходящие преимущественно от духовной цензуры. Так, в 1868 г. член Петербургского комитета духовной цензуры, архимандрит Фотий, подверг обстоятельному разносу книгу: Фр. М. Вольтер, «Философия истории, перевод с французского под редакцией Зайцева» (СПб. 1868). Упомянув, что книга эта «должна была предварительно быть представлена, еще в рукописи, на рассмотрение духовной цензуры, потому что в этом сочинении автор рассуждает о событиях и других предметах священной истории ветхо-заветной церкви, также касается догматов христианской веры», цензор переходит, собственно, к оценке Вольтера.

«Книга эта, заключающая в себе «Философию истории» и антикритику на это сочинение, под названием: «Защита дядюшки», содержит в себе весьма много противного св. писанию или вере христианской. Автор, хотя и прикрывается заявлениями уважения своего к божественному откровению, но эти заявления имеют у него несомненное значение иронии, потому что все сочинение его направлено к противному. Он не только наводит тень сомнения на многие истины веры, но и подкапывается под самые основания их и даже дерзко глумится над ними. Так он с возмутительною дерзостью подкапывается под самые основы церкви ветхо-заветной, которая составляет другую половину или часть церкви христовой, доказывая, что в ней будто бы допускалось многобожие и не было веры в будущую жизнь и бессмертие души,—что рассказ о Моисее, которого автор называет секретарем бога (стр. 223), будто бы есть позднейшая переделка индейского сказания о Бахусе (стр. 155); еврейский народ считает предками воров, называя его шайкою воров и разбойников, грубыми варварами, народом тупым и жестоким, и глумится над проявлениями сему народу божиих благодеяний (стр. 234—235). На стр. 29 видимо издевается над воплощением господа и спасителя нашего Иисуса Христа; на стр. 65 дает понять, что христианское таинство крещения будто бы заимствовано из религии персов и халдеев; на стр. 263 подкапывает веру в учение о воскресении; на стр. 222 упрекает духа святого в сообразовании будто бы с народными суевериями, а св. писание—в подтверждении предрассудков. И все это всюду сопровождает циническими остротами и оговорками, в роде следующей: что в истории евреев все человеческое есть верх ужаса, а божественное непостижимо нашему ограниченному рассудку; стало быть остается безмолвствовать (стр. 222). Кроме сих мест... можно указать еще следующие, замечательные по дерзкому противоречию св. писанию:

1) Автор, вопреки ясной истории ветхо-заветной, полагает первоначальное состояние рода человеческого—дикое (стр. 16). 2) Теократию называет тираниею, безумным, гнусным образом правления (стр. 52). 3) Подвергает сомнению путешествие израильтян по пустыне (стр. 58). 4) Еврейский обрядовый закон, который дан богом, почитает сумасбродством (стр. 408). 5) Историю сотворения мира называет нелепостию (стр. 107). Такие, и многие другие, дерзкие противоречия учению св. писания содержит в себе эта книга».

Из сказанного цензор делал практический вывод о необходимости запрещения книги («не может быть дозволена к обращению в публике»), отвергая одновременно просьбу издателя (Н. П. Полякова) об «исправлении» книги, т. е., повидимому, о снабжении ее каким-то предисловием, которое бы «разъясняло» и «опровергало» Вольтера, либо об исключении наиболее предосудительных с цензурной точки зрения мест. «Исправление этого сочинения,—писал цензор,—во всяком случае, неудобно и почти невозможно, потому что: 1) здесь требуются не краткие заметки, а обширные опровержения. А так как в упомянутой книге весьма много вредного истине, то нужно составить почти такую же по величине книгу опровержений удовлетворительных. 2) В этом сочинении много глумлений и насмешек над предметами священными.

А насмешки, хотя много вредят истине, неудобны для опровержения. Исключить же все вредные для веры места этого сочинения неудобно потому, что их чрезвычайное множество. Притом, всё сочинение проникнуто дурным духом, враждою и ненавистью к христианству, как религии положительной, откровенной, особенно к первой части христианства—к церкви ветхо-заветной, которая, в некотором отношении, есть основание церкви ново-заветной»[22].

В 1870 г. духовная же цензура настояла на исключении ряда страниц из книги «Романы и повести Фр. М. Вольтера. Перевод Дмитриева», которые «касаются некоторых священных лиц и событий ветхого и нового заветов, а также учения и догматов христианской веры». «В вымышленной форме писем последователей Брамы,—писал цензор,—автор в примечании на стр. 442 и 443 набрасывает тень неверия на действительное существование Моисея, воспользовавшись для этого баснею о Бахусе, кощунственно сравнивает Бахуса с Моисеем и первого предпочитает последнему; на стр. 449—452 с иронией относится к обращению апостола Павла в христианство, к его страданиям и, в особенности, к его восхищению на третие небо; перечисляет далее некоторые события из ветхого завета и, придавши им особый смысл и значение, представляет их, как события частию сказочные, частию ужасные и омерзительные, очевидно желая тем унизить достоинство священной истории, а на стр. 464 с намерением указывает на такие чудеса Иисуса Христа и при этом выражается так, что они служат к унижению достоинства совершающего; в вымышленной форме разговора, на стр. 525—528, иронически представляет встречу апостола Петра с Симоном волхвом, старается заподозрить достоинство пресвятой девы, как божией матери, с сомнением говорит о действительности вечных мучений. Таким образом, вышеуказанные страницы по изложению, духу и направлению клонятся к унижению священных лиц и событий и к поколебанию истин и догматов христианской веры и, как явно неблагонамеренные и оскорбительные для чувства христианской веры... подлежат запрещению»[23].

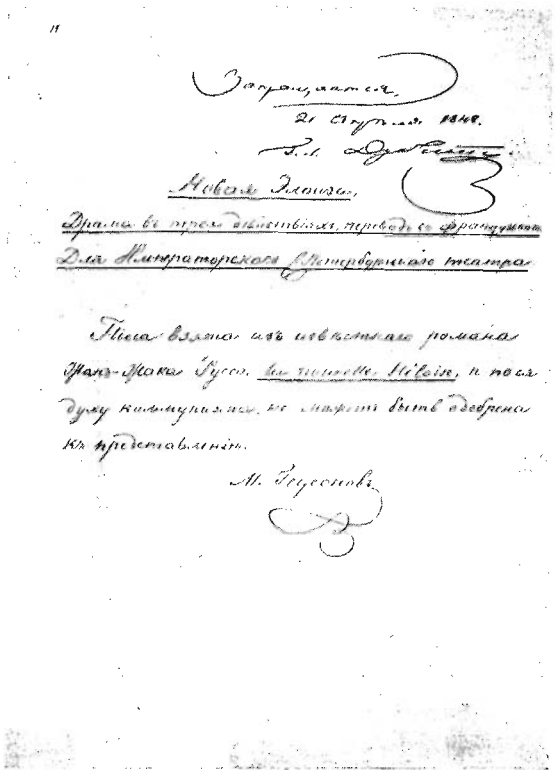
С духовной цензурой соперничала по части уловления и истребления антирелигиозных мест у Вольтера также цензура иностранная. Цензор Л. Ивановский, по ознакомлении с книгой Voltaire, «Œuvres choisies» (Paris, 1878), доносил в своем рапорте, что «часть книги, озаглавленная «Religion», заключает в себе, вместе с весьма справедливыми замечаниями о веротерпимости и вреде фанатизма, бесчисленное множество мест, в коих Вольтер, со свойственною ему колкостью, издевается над догматами, над текстом священного писания и, наконец, над самою личностью спасителя», и полагал, что «эта часть следует вся к исключению». Комитет, однако, предпочел запретить всю книгу целиком[24].

Первая часть философского лексикона Вольтера («Œuvres complètes», vol. XVI, Paris, 1876) в 1883 г. подверглась запрещению за то, что в нем автор «подвергает предания св. писания своей едкой сатире и профанирует их с свойственной автору беспощадностью»[25]. В 1884 г. «Romans suivis de ses contes en vers» (Berlin) были разрешены с исключением непочтительного отзыва о деве Марии[26]. В 1888 г. запрещена книжка «L'ingénue» (Petite bibliothèque universelle. Chefs d'œuvre français et étrangers), «в виду того, что тенденция автора осмеивать религию и что он возбуждает чувственность в читателе»[27].

Однако, в том же 1888 г. поэт и цензор Я. П. Полонский, рассматривая том избранных произведений Вольтера,—правда, приспособленных к школьным потребностям (Voltaire, «Extraits en prose. Philosophie, histoire, littérature, mélanges. A l'usage des classes supérieures de l'enseignement secondaire classique et special». Par Eug. Fallex, Paris, 1888),—попытался «реабилитировать» Вольтера перед цензурой указанием на его устарелость, на отсутствие какой бы то ни было актуальности в его политических, антирелигиозных и антицерковных выступлениях, особенно по сравнению с тем, что давала современная политическая (особенно, конечно, зарубежная) печать.

ЗАПРЕЩЕНИЕ СДЕЛАННОЙ ПО РОМАНУ РУССО ПЬЕСЫ „НОВАЯ ЭЛОИЗА". ПОДПИСАНО ЦЕНЗОРОМ М. ГЕДЕОНОВЫМ И ДУБЕЛЬТОМ 21 АПРЕЛЯ 1848 г.

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)



«После всего того, что писалось и печаталось не только за границей, но даже и у нас, в наших журналах, после Вольтера,—писал Полонский,—когда принимаешься читать его, Вольтер кажется нисколько не страшным. Напротив, все, что писал он, кажется уже пресным после той наркотической пищи, которую дает нам современная литература. Для наших доморощенных философов и атеистов Вольтер, несомненно, кажется верующим, а нашим анархистам и нигилистам будет неприятен, так как Вольтер проповедует, что самая счастливая страна есть та, которая повинуется законам... Может быть, в этой книге и встретятся места сомнительные, но в общем, в наше время, книга эта не представляет собой никакой опасности. Вольтер был страшен, да и теперь еще страшен для западного, католического духовенства, но он нигде в этом сборнике не отрицает религии и не затрагивает сущности христианства.

Книжка эта—сборник статей самого разнообразного содержания, и я думаю, очень полезен для желающего ознакомиться с Вольтером, для людей, занимающихся историей литературы. Для нас, русских, сочинения Герцена заключают в себе гораздо больше яда, чем Вольтер, но и Герцен потерял уже свое обаяние»[28].

В этом любопытном документе наиболее примечателен, конечно, не самый факт пропуска книги, представлявшей, действительно, самую безобидную выборку из произведений и высказываний Вольтера; примечательны, с одной стороны, «либерализм» цензора, указывавшего на необходимость какого-то исторического подхода к Вольтеру, с другой—система его доказательств, по которым Вольтер (в причудливом сочетании с Герценом) является меньшим злом, по сравнению с более современными публицистами и философами, «анархистами» и «нигилистами»—подлинными «потрясателями основ». Эффекта этого выступления Полонского не могут затушевать ни позднейшая его оценка «Dialogues satiriques et philosophiques suivi du sermon des cinquante» (Paris, 1890)[29], ни опасения цензора, при рассмотрении русского перевода

«Вавилонской принцессы» (1896), что у нас в России сочинения Вольтера должны оказать такое же влияние, что и во Франции в XVIII в., т. е. «подготовить революцию и дать ей антирелигиозный характер»[30].

Дальнейшее содержание под запретом философских и художественных произведений Вольтера, вошедших в обиход университетского и даже отчасти гимназического преподавания и изучения, делалось все затруднительнее, все менее оправдываемым. В 1897 г. было разрешено несколько произведений Вольтера, находившихся под запретом или допущенных с исключениями: «Dictionnaire historique des événements remarquables» (Paris, 1874); «Œuvres choisies» (Paris, 1878); «Œuvres complètes» (Paris, 1876, vols. II, IV, XII); «Romans suivis de ses contes en vers» (Berlin). Цензура признала их достоянием истории и нашла возможным проявить к ним «снисхождение»[31].

Впрочем, и позднее цензура обращала внимание на произведения Вольтера, подчеркивая их «безнравственность». Так, в 1912 г. Петербургский комитет по делам печати наложил арест на «Повести и рассказы» (перевод Л. Буха, издание Павленкова, СПб. 1912), усмотрев в некоторых из них места «явно противные нравственности и благопристойности». Однако, окружный суд не нашел в книге состава преступления и арест отменил[32].

Менее характерны и выразительны цензурные дела о другом великом философе—Ж.-Ж. Руссо. Конечно, произошло это не по причине особенной благосклонности к нему царской цензуры и не потому, чтобы русская литература уделяла ему недостаточное внимание. Как указывал в свое время В. В. Сиповский, имя Руссо не сходит со страниц русских журналов, начиная с половины XVIII в. и вплоть до сороковых годов XIX ст.[33]; что же касается влияния на русскую художественную литературу, то Руссо не только не уступал Вольтеру, но, пожалуй, превосходил его. Одновременно значительный резонанс на русской почве получил и руссоизм, как философское явление, вызывая восторженные оценки, громадное количество подражаний и изредка попытки полемики с ним. Эта же философия Руссо вызвала, еще в XVIII в., обвинения его со стороны цензурно-полицейских учреждений в коммунизме и безбожии; образцы подобных обвинений приводились уже выше, повторялись они неоднократно и позднее.

Так, в 1831 г. духовной цензурой было запрещено «Размышление о величестве божием» Руссо[34]; в 1851 г., при цензировании «Библейско-биографического словаря» Яцкевича и Благовещенского, духовный цензурный комитет обнаружил в нем разные «излишности и неуместные суждения», в числе которых видное место занимали ссылки на Руссо в защиту св. писания (?!)[35]. В 1848 г. театральной цензурой, находившейся в ведении III отделения, была запрещена—по докладу директора петербургских театров М. Гедеонова—переводная пьеса «Новая Элоиза», переделанная из одноименного романа Руссо: Гедеонов нашел (и с ним согласился в своей запретительной резолюции Дубельт), что пьеса «не может быть одобрена к представлению... по ее духу коммунизма»[36]. В 1854 г. цензор Гольмбладт, рассматривая «Les confessions», нашел, «что, кроме безнравственного направления этого сочинения, неудовлетворительными в цензурном отношении представляются и религиозные понятия автора, и что, кроме того, в книге этой встречаются места, противные благоприличию». По мнению цензора, «„Исповедь“ эта, несмотря на все значение свое для психолога и литератора, должна быть запрещена для публики». Комитет цензуры иностранной не только подтвердил мнение цензора, но и запретил еще находившиеся в той же книге «Lettres à Sare»[37].

Правда, позднее, в 1872 г., были пропущены «Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes» и «Emile ou l'éducation», а в 1872—1873 гг. «Œuvres complètes» (vols. I—XIII), однако, «Contrat social» в течение нескольких десятилетий

вызывал пристальное внимание цензуры. Выдержки из «Contrat social», приведенные в книге: «J. J. Rousseau, Morceaux choisis. Edition classique avec notes, jugement... par Eug. Fallex» (Paris, 1884), были исключены иностранной цензурой в 1886 г. Однако, в 1897 г. это издание было разрешено полностью[38].

Чрезвычайно показательно запрещение русского перевода «Contrat social» в 1905 г.: очевидно, содержание трактата Руссо показалось цензуре слишком созвучным революционным и конституционным настроениям, чтобы его можно было свободно пустить в обращение. По поводу представленной в цензуру рукописи перевода «Общественного договора» Руссо (перевод А. А. Френкеля) цензор Ф. Федоров писал: «По учению Руссо совершеннейшею формою государственного устройства является самодержавная демократия: нераздельное, неотчуждаемое и непогрешимое народовластие осуществляет всю полноту власти при посредстве «правительства», являющегося ставленником народа, всецело от него зависимого и им сменяемого. Известно, какую выдающуюся, если не главную, роль сыграла эта идея властного народа в формулировке принципов Великой французской революции». И дальше: «Принимая во внимание, что изложенные рассуждения и выводы находятся в полном противоречии с существующим государственным нашим строем и коренными законами, я полагал бы рукопись: «Об общественном договоре или начала политического права» Ж.-Ж. Руссо к печати не дозволять... К сему считаю необходимым присовокупить, что названное сочинение J. J. Rousseau «Du contrat social ou principes du droit politique» запрещено в подлиннике к ввозу в пределы России». С заключением цензора согласился и Петербургский цензурный комитет[39].

Весьма систематическим, последовательно отрицательным было отношение царской цензуры и к третьему великому представителю французской философии и литературы XVIII в.—Дидро, или Дидероту, как его называли в России вплоть до сороковых годов XIX в. Не касаясь более старых отзывов и характеристик, в которых имя Дидро неизменно сопровождало имена Вольтера и Руссо, приведем ниже ряд документов позднейших годов, ярко демонстрирующих, насколько силен и упорен был страх царской цензуры перед проникновением в Россию революционных идей французского просветительства.

В августе 1829 г. цензор Г. Р. Дукшта-Дукшинский представил С.-Петербургскому комитету цензуры иностранной обширный рапорт о книге: «Correspondance inédite de Grimm et de Diderot et recueil de lettres, poésies, morceaux et fragments retranchés par la censure imperiale en 1812—1813» (Paris, 1829), в котором писал: «Переписка Гримма, Дидерота, статьи, запрещенные цензурою,—вот заглавие заманчивое для толпы ветреных читателей, но ужасающее благомыслящего человека. Можно ли ожидать какой-либо пользы от сочинений корифеев безбожия?—Издатель предвидел сей вопрос и, признаваясь откровенно в том, что его герои исповедуют и обнаруживают бесстыдно правила атеизма и материализма, он спешит уверить, что их сочинения теперь не только уже не вредны, но и служат к утверждению истины.

«Религия победила противников более серьезных, чем Гримм и Дидро, и мы не только полагаем, что их писания не представляют никакой опасности, но даже убеждены, что содержащиеся в них многочисленные и ощутительные непоследовательности могут только содействовать триумфу истины» (стр. X).

Так верно г. издатель принял на себя труд показать неосновательность их мнения? Ни мало. «Не давая оценки их мнений,—говорит он (стр. XI),—мы не старались ни смягчать, ни опровергать даже такие из них, ложность и опасное преувеличение которых были доказаны опытом».

Из 59 статей, составляющих ее содержание, большая часть относится до религии; в прочих рассуждается о политических и других менее важных предметах. Правила так называемых философов XVIII в. вообще и, в особенности, мнения Дидерота

и Гримма довольно известны. Самое бесстыдное безверие, отвратительное кощунство, материализм и вражда к монархическому правлению, составляющие отличительные качества их сочинений, обнаруживаются и в настоящей их переписке». Приводя затем несколько отрывков, «подающих понятие о ее духе» и иллюстрирующих высказанные выше положения, цензор продолжал: «Мысли о политике основаны здесь на понятиях, изображенных в известной книге Жан-Жака Руссо «Le contrat social», но мы почитаем излишним приводить оные, поелику безбожие и кощунство, наполняющие сию книгу, уже слишком достаточны к строжайшему оной запрещению»[40].

В 1831 г. цензура запретила первые два тома книги «Mémoires, correspondance et ouvrages inédits de Diderot, publiés d'après les manuscrits confiés, en mourant, par l'auteur à Grimm» (Paris, 1831), усмотрев в них «следы опасного вольнодумства автора, состоящего в непристойных шутках, обнаруживающих неуважение к вере христианской и оскорбляющих добрые нравы»[41]. Докладывая же комитету о томах III—IV этого издания, цензор В. Соц обратил особое внимание на помещенные в них «Философские беседы», в которых «излагается опасная теория материализма» и, особенно, на «Прогулку скептика», сочинение, «в коем автор рассуждает о религии, философии и мире» и которое «исполнено ужасного безбожия, соединенного с гнусным кощунством на счет веры христианской и книг ветхого и нового завета». «Имея в виду решение Главного управления цензуры... о запрещении для публики первых двух томов,— продолжал цензор,—мы полагаем, что оно должно распространяться и на третий, заключающий в себе несколько предосудительных мест, отмеченных на страницах: 32, 49, 72, 308, 390 и 447. Но четвертый том, в коем находятся вышеобъясненные опасные статьи, требует, по мнению нашему, меры безусловного запрещения»[42]. С мнением цензора согласился комитет, и запрещение всех четырех томов было отменено лишь в 1897 г.[43].

Запрещению подвергались и некоторые другие издания произведений Дидро, например, «Mélanges philosophiques» (Paris, 1870), как заключающие «суждения о боге и религии, проникнутые духом сомнения, насмешки и отрицания», или «Nouvelles et mélanges. Anecdotes diverses» (Berlin)—несмотря на снисходительный отзыв цензора[44].

Если философские сочинения Дидро вызывали преимущественно обвинения в кощунстве, в оскорблении добрых нравов, то его художественные произведения неизменно запрещались, ввиду «крайней безнравственности» их содержания. В 1868 г. были запрещены «Romans et contes» Дидро (3 тома), причем рассматривавший их цензор особенное внимание обратил на дешевизну, а следовательно, доступность издания[45]. Когда же в 1872 г. было выпущено бесцензурное русское издание «Романов и повестей» (в переводе В. Зайцева), оно было запрещено и уничтожено по постановлению комитета министров. В своем представлении по этому поводу Главное управление по делам печати писало: «Означенный том «Романов и повестей Дидро» состоит из пяти отдельных статей, из которых первые две, большие по объему, «Жак фаталист и его барин» и «Белая птица», отличаются особенно вредным содержанием, а из остальных, меньших статей, в двух встречаются только некоторые места неудобные для печати... Вся книга эта как в общем, так и в частностях по своему антирелигиозному и циническому характеру представляется в высшей степени безнравственною и безбожною; такой характер подлинника оной признан даже в самой Франции».

Комитет министров полностью согласился с такой оценкой, признал книгу «не только безнравственной, но и антирелигиозной» и постановил запретить ее; все издание (2462 экз.) было уничтожено[46].

В начале восьмидесятых годов в цензурном ведомстве возникло несколько дел в связи с исследованиями о Дидро и материалистической философии XVIII в.; дела

эти весьма убедительно показывают, насколько опасной казалась эта философия самодержавию и через сто лет после ее появления. Особенно характерно в этом отношении дело о книге (переводной) Джона Морлея «Дидро и энциклопедисты» (перевод В. Н. Неведомского, изд. К. Т. Солдатенкова, М., 1882), о которой обширный доклад представил цензор Федоров.

«Названная книга,—писал цензор,—завершает собою ряд исследований о литературных произведениях, подготовивших французскую революцию, и знакомит читателя преимущественно с идеями безбожия, господствовавшими в XVIII в. Особенное внимание обращают на себя стр. 1—169, содержащие в себе разбор сочинений Дидро и современных ему философов, и глава XIV, излагающая «Систему природы» Гольбаха. Идеи рационализма и атеизма, а также идеи, подрывающие монархическую власть, изложены здесь в более последовательном порядке и способны произвести тем большее впечатление на читателя. Читатель узнает из названных страниц, что стремление к евангельскому совершенству, по мнению Дидро, есть не что иное, как «вредное искусство заглушать природу» (стр. 10). По мнению того же философа, откровенная религия не доставляет никаких выгод, которые уже не были бы обеспечены нам натуральной религией; религия эта не познакомила нас ни с какими новыми истинами; все, что она прибавила к натуральным законам, заключается в пяти-шести положениях, которые так же мало понятны, как если бы они были выражены на древнем карфагенском наречии (стр. 42). Профессор Кембриджского университета Саундерсон, слепой от рождения, но человек с поразительной силой ума, допускает существование бога только в таком случае, если бы можно было осязать его (стр. 62). И. Христос представляется не более, как гениальным человеком, и ставится в ряду Эсхила, Пиндара, Магомета, Шекспира (стр. 143).

Религия вообще низводится на степень суеверия, и если человеку, склонному от природы к суеверию, необходим какой-нибудь идол (говорится на стр. 151), то жела-

РОМАНЫ И ПОВѢСТИ

Д. ДИДРО.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО

В. ЗАЙЦЕВА.

ТОМЪ II.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Неклюдова (Офицерская, № 14).
1872.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ II ТОМА ИЗДАНИЯ „РОМАНОВ И ПОВЕСТЕЙ" ДИДРО В ПЕРЕВОДЕ В. ЗАЙЦЕВА, ЗАПРЕЩЕННОГО И УНИЧТОЖЕННОГО ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ, 1872 г.

тельно, чтобы этот идол был самый простой и безвредный. «Система природы» Гольбаха, по мнению самого Д. Морлея, есть такая книга, в которой все разбросанные критикой XVIII в. взрывчатые вещества были соединены в одну громоносную машину бунта и разрушения. Книга эта поразила самого Вольтера, и лишь только он прочел «Систему природы», как тотчас схватился за перо, чтобы писать возражения. Фридрих II был оскорблен книгой, которая так же мало щадила политические предрассудки, как и богословские догматы. Гольбах, по словам Морлея, нападает на самые основные идеи теологии и на идею о божестве смотрит, как на болезненный нарост. Для характеристики политических убеждений Гольбаха достаточно следующей цитаты: «Повсюду люди находятся под игом такого властелина, который пренебрегает образованием своего народа, стараясь лишь о том, чтобы его надуть и провести. Во всех странах земного шара правители—люди несправедливые, неспособные, изнеженные роскошью, нравственно испорченные лестью, развратившиеся от своеволия и безнаказанности, не отличающиеся ни талантами, ни нравственными правилами, ни добродетелями... Во всех странах нравственность народа в совершенном пренебрежении, и правительства заботятся только о том, чтобы сделать управляемых боязливыми и подлыми» (стр. 368)[47].

По моему убеждению, новый перевод сочинения Д. Морлея, знакомящий русскую публику с такими идеями, которые, как говорит сам автор, подготовили кровавый переворот в прошлом столетии, не может не представляться вредным вкладом в русскую литературу».

Это убеждение в крамольности книги было настолько велико, что, когда Главное управление по делам печати задержалось несколько с решением вопроса о запрещении, специальную телеграмму прислал московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков, подчеркнув, что и он, со своей стороны, находит книгу вредною. Однако, министр внутренних дел разрешил выпустить книгу, «ввиду ее ученого характера»[48].

В 1884 г. внимание цензуры привлекла книга В. А. Бильбасова «Дидро в Петербурге» (СПб. 1884) и, в частности, стр. 142—143, где «издатель Бильбасов с едкостью замечает, что через сто лет после Фонвизина, с презрением отзывавшегося о таких философах, как Дидро, у нас и теперь имеют успех невежество и отсталость, в качестве основ народно-русского направления, и что до сих пор произведения французских философов прошлого века, в том числе и Дидро, признаются вредными и находятся под запретом». Этот отзыв Бильбасова «относительно обскурантизма русского правительства» цензор счел «совершенно неуместным» и, по совокупности отмеченных прегрешений, предложил книгу «подвергнуть аресту, с условием исключения указанных мест». Несмотря на то, что Петербургский цензурный комитет с мнением цензора согласился, начальник Главного управления по делам печати, Е. М. Феоктистов, разрешил выпуск книги, положив резолюцию: «В указанных местах книги не усматриваю ничего такого, что должно было бы служить поводом к ее запрещению»[49].

Наконец, в том же 1884 г. внимание иностранной цензуры обратила на себя книга D. Diderot, «Les Eleuthéromanes (avec un commentaire historique)» (Paris, 1884), о которой цензор А. Певницкий дал следующий отзыв: «Эта книжка, изданная по случаю столетнего юбилея смерти Diderot, содержит перепечатку одного из его стихотворений, напечатанного им в 1772 г., под заглавием: «Les Eleuthéromanes, ou les furieux de la liberté», которому издатель предпослал исторический комментарий о значении Дидро, как философа, писателя и публициста.

Восторженный поклонник проповедуемых издателем «Энциклопедии» радикальных идей, автор ставит ему в высокую заслугу его ожесточенные нападки на религию и монархическую власть, восхищается его отрицанием верования в бога, оправдывает все совершенные французскою революциею неистовства и жестокости и выставляет последователя Дидро, Дантона, идеалом честного и мужественного гражданина...

Воспроизведенное здесь стихотворение «Les Eleuthéromanes» содержит в себе исполненное ненависти к алтарю и престолу воззвание к диким страстям толпы, открыто призывающее к убийству царей и священников (см. на странице 96 слова: «Его руки готовы свить кишки попа, чтобы, за недостатком веревки, удушить ими королей»). Посему не может быть сомнения, что эта книга подлежит запрещению»[50].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] М. В. Ломоносов, Риторика, СПб. 1748, стр. 153; М. В. Ломоносов, *Полное собрание сочинений, под ред. М. И. Сухомлинова, т. III, стр. 207.*

[2] Гр. Гуковский, Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750-х—1760-х гг., М. 1936, стр. 98—99.

[3] «Записки венецианца Казановы» («Русск. Старина», 1874, кн. 9, стр. 540—541). Ср. также «Записки Г. Винского» («Русск. Архив», 1877, т. I, стр. 103); «Записки А. Т. Болотова», т. IV, стр. 184 и др. Свод мемуарных данных о «вольтерьянстве» дал В. В. Сиповский в статье «Из истории русской мысли XVIII—XIX вв. (Русское вольтерьянство)» («Голос Минувшего», 1914, № 1, стр. 105—131); там же—краткая библиография вопроса.

[4] «Сборник Императорского Русского Исторического Общества», т. VII, стр. 318; ср. также «Осьмнадцатый век», кн. III, стр. 391.

[5] В. Семенников, К истории цензуры в Екатерининскую эпоху («Русск. Библиофил», 1913, № 1, стр. 55—56).

[6] Там же, стр. 56.

[7] В. Ф. Солнцев, «Смесь», сатирический журнал 1769 г., СПб. 1894, стр. 11—13.

[8] «Вольтеровы заблуждения», М. 1793, стр. 2; ср. «Сборник Общества Любителей Российской Словесности», М. 1891, стр. 216, 244—245, 267; «Журн. Мин. Народн. Просвещ.», 1895, № 7, стр. 100.

[9] «Москвитянин», 1844, ч. VI, стр. 213; «Русск. Архив», 1872, № 2, стр. 319.

[10] «Древняя и Новая Россия», 1878, № 3, стр. 279.

[11] См., например, «Обнаженный Вольтер» (СПб. 1787), «Письмо, содержащее некоторые рассуждения о поэме г. Вольтера „На разрушение Лиссабона“» В. Левшина (М. 1788), «Изобличенный Вольтер» (СПб. 1792), «Ах, как вы глупы, господа французы!» (М. 1793), «Оракул новых философов или кто таков г. Вольтер» (М. 1803), «Основатели новой философии, Вольтер, Даламбер и Дидерот—энциклопедисты без маски» (СПб. 1809), «Иудейские письма к г. Вольтеру» (М. 1808—1809) и др. Сюда же нужно присоединить и упомянутые выше «Вольтеровы заблуждения» аббата Нонота (М. 1793) в переводе Евгения Болховитинова (см. «Русск. Вестник», 1869, № 5, стр. 34—36). Библиографические, хотя весьма неполные данные о переводах Вольтера и распространении его сочинений в России см. в статье Д. Языкова, Вольтер в русской литературе («Под знаменем науки». Сборник в честь Н. И. Стороженко, М. 1902, стр. 703—704 и др.). В 1929 г. в Ленинградском обществе библиофилов был прочитан доклад П. А. Картавова, содержавший ряд новых и свежих материалов: «Вольтер в России, архивные и библиографические разыскания о переводах произведений Вольтера на русский язык и о влиянии их на русскую литературу и общество» (остался ненапечатанным).

[12] Архив Академии наук СССР, журнал заседаний Академии наук 1791, № 602; ср. В. Семенников, К истории цензуры в Екатерининскую эпоху («Русск. Библиофил», 1913, № 1, стр. 62).

[13] «Летописи Русской Литературы и Древностей», 1863, т. V, стр. 41.

[14] «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год», СПб. 1862, стр. 33—34.

[15] Там же, стр. 46, 47.

[16] Там же, стр. 59.

[17] «Русск. Старина», 1894, № 9, стр. 172—173.

[18] Г. К. Репинский, Цензура в России при императоре Павле («Русск. Старина», 1875, № 11, стр. 454—459).

[19] «Русск. Старина», 1875, № 11, стр. 457, 458, 460.

[20] [В. В. Стасов], Цензура в царствование императора Николая I («Русск. Старина», 1903, № 10, стр. 173—174).

[21] В результате произведенного расследования книга Н. Сокольского была запрещена, а сам автор отстранен от должности преподавателя семинарии. См. А. Котович, Духовная цензура в России, СПб. 1909, стр. 584—588.

[22] СПб. ценз. к-т, 1868 г., д. № 61, лл. 16—17. После запрещения книги духовной цензурой издатель Поляков в 1871 г. просил цензурное ведомство возбудить против него судебное преследование, рассчитывая на оправдательный приговор. Однако, одновременно с возбуждением этого преследования Главное управление по делам печати обратилось в комитет министров с представлением о запрещении книги, как особо вредной. 7 ноября 1872 г. книга, действительно, подверглась запрещению, и 775 экземпляров ее были уничтожены. В связи с этим судебное преследование против Н. П. Полякова было прекращено (Главн. управл. по делам печати, II отд., 1871 г., д. № 139).

[23] СПб. ценз. к-т, 1870 г., д. № 17, л. 9.

[24] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1878 г., № 4336.

[25] Там же, рапорты за 1883 г., № 5187.

[26] Там же, рапорты за 1884 г., № 7112.

[27] Там же, рапорты за 1888 г., № 10568.

[28] Там же, рапорты за 1888 г., № 3760.

[29] Там же, рапорты за 1893 г., № 9855.

[30] СПб. ценз. к-т, 1896 г., д. № 149; ср. также Н. В. Дризен, Драматическая цензура двух эпох 1825—1881, Пгр., стр. 248—249; В. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века, Л. 1927, стр. 165.

[31] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1897 г., №№ 8031—8034.

[32] СПб. к-т по делам печати, 1912 г., д. № 91.

[33] В. В. Сиповский, Очерки из истории русского романа, т. II. СПб. 1910, стр. 422; ср. проф. В. И. Резанов, Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. II, Пгр. 1916, стр. 561—566. Е. Боброва, Жан-Жак Руссо в России («Книжные Новости», 1937, № 12, стр. 6—9).

[34] Московск. ценз. к-т, 1831 г., д. № 20.

[35] А. Котович, Духовная цензура в России, СПб. 1909, стр. 514.

[36] Драм. ценз., рапорты за 1848 г., № 14.

[37] СПб. к-т ценз. иностр., журнал заседаний за 1854 г.

[38] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 5962; 1897 г., № 8027.

[39] СПб. ценз. к-т, 1905 г., д. № 4, лл. 2—3.

[40] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1829 г., № 300; комитет постановил книгу запретить «с выдачей по разрешению Главного управления цензуры лицам известным».

[41] Там же, рапорты за 1831 г., № 745.

[42] Там же, рапорты за 1831 г., № 951.

[43] Там же, рапорты за 1897 г., № 8004.

[44] Там же, рапорты за 1872 г., № 1737; 1891 г., № 3; 1897 г., № 8002.

[45] Там же, рапорты за 1868 г., №№ 4079-a, b, c. «Romans et contes» были дозволены к ввозу и распространению в 1897 г. (см. рапорты за 1897 г., № 8006).

[46] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1872 г., д. № 99, лл. 11—16.

[47] Мы не имеем возможности останавливаться здесь на отношении цензуры к сочинениям Гольбаха, не менее выразительном, чем отношение ее к Вольтеру, Руссо и Дидро. Чрезвычайно показателен в этом смысле отзыв московского духовного цензора о рукописи «Обеденных бесед» Гольбаха. «Рукопись, — писал цензор,—выставляя богохульство, нечестие и подлость вольнодумцев XVIII в. в собственном их виде и из собственных их слов и сочинений и сопровождая главнейшие из них опровержениями, содержит, однако, ...много таких мест, которые, будучи взяты отдельно, заключают не только противное христианской нравственности, правительству и религии, но и столь едки, неблагопристойны, грубы и вредны, что всего лучше бы и не слыхать их. Большая часть из них таковы, что никакие серьезные опровержения не могут отвратить вреда, который они произвели бы, повторяясь в воображении и памяти узнавшего их не столько по любви к истине, сколько из любопытства» (Московск. к-т дух. ценз., 1830 г., д. №/28; А. Котович, стр. 457—458).

[48] Главн. управл. по делам печати, 1882 г., д. № 83, лл. 1—5.

[49] Главн. управл. по делам печати, 1884 г., д. № 67, лл. 2—3. Можно предположить, что на благоприятную резолюцию Феоктистова, крайне реакционные тенденции которого достаточно известны (см., например, нашу публикацию «Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову» в «Литер. Наследстве», кн. 22—24, 1935), в данном случае оказал влияние К. Н. Бестужев-Рюмин, покровительствовавший Бильбасову и в то же время бывший близким приятелем Феоктистова.

[50] Комитетом книга была запрещена; см. СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1884 г., № 6223.

II. ВИКТОР ГЮГО

Совершенно исключительный успех произведений Гюго во Франции очень рано получил в России шумный и продолжительный резонанс, обнаружил среди русских его читателей как строгих критиков, даже хулителей, так и восторженных почитателей, страстных поклонников, нетерпеливо ожидавших каждой новой книги своего кумира, превозносивших ее до небес. Особенно чутко и остро воспринимались на фоне николаевской действительности ноты социального протеста, звучавшие уже в ранних романах французского писателя[1].

Быстро и неизменно растущая популярность Гюго в России побудила цензуру обратить на его творчество пристальное внимание. В 1831 г. в цензуру был представлен русский перевод романа «Бюг Жаргаль», по поводу которого цензор В. Семенов обратился в Петербургский комитет со следующим донесением:

«Представляя при сем на благоусмотрение комитета роман Виктора Гюго, под заглавием «Бюг Жаргаль», переведенный г. Матцневым, долгом поставляю объяснить:

1) что предмет романа есть возмущение невольников во французских Сан-Доминг-ских колониях в конце прошедшего столетия;

2) что главное действующее лицо, герой романа Бюг Жаргаль, представленный каким-то неустрашимым, благородным и добродетельным человеком, каким-то идеалом совершенства, есть глава возмутившихся невольников.

По сим двум обстоятельствам, не поставляя себя в праве одобрить означенную рукопись сам собою, я всепокорнейше прошу комитет снабдить меня разрешением: может ли в настоящем положении дел быть дозволена книга, предмет коей есть возмущение, а герой—глава бунтовщиков.

В заключение долгом поставляю присовокупить, что, кроме сего вопроса, я не нашел во всей рукописи ни одного сомнительного места, и что даже роман сей написан в духе более монархическом, нежели республиканском, и не заключает в себе тех гнусных начал якобинства, тех выходок противу общественного порядка и законной власти, коими наполнена бóльшая часть новейших французских романов»[2].

Несмотря на сомнительные по своему качеству реверансы по адресу Гюго, содержавшиеся в заключительных строках цензорского донесения, роман не был пропущен: Петербургский цензурный комитет, признав себя не в праве дозволить роман к печати, представил его на рассмотрение Главного управления цензуры, которое признало «неудобным при настоящих обстоятельствах дозволять на русском языке книгу, имеющую предметом возмущение невольников против своих владельцев»[3]. «Настоящие обстоятельства», на которые ссылаются и цензор и резолюция,—это, конечно, крестьянские волнения, возникшие в 1830—1831 гг. в ряде губерний, доставившие немало беспокойства и хлопот правительству и неожиданно сделавшие роман французского писателя злободневным в России.

В 1833 г. министр народного просвещения С. С. Уваров обратил внимание на драму В. Гюго «Lucrèce Borgia», перепечатанную в России в журнале «Revue étrangère». В письме по этому поводу к Бенкендорфу он писал: «Книгопродавец Дюфур, издатель «Revue étrangère», объявил мне, что последний № оного, заключающий театральную пьесу «Lucrèce Borgia», был рассмотрен цензурою III отделения и ею одобрен. Благоволите, милостивый государь, уведомить меня, есть ли сие показание Дюфура основательно, ибо я нахожу несколько затруднительным издание сей пьесы, по крайней мере без некоторых перемен, и желал бы в сем случае руководствоваться мнением вашего сиятельства». Бенкендорф отвечал, что «цензура III отделения не рассматривала и не одобряла упомянутой театральной пьесы, имея обязанность рассматривать те только, которые назначаются к представлению на сцене», а что он сам, прочтя пьесу, «нашел всё содержание оной предосудительным». После такого отзыва

Уваров распорядился уничтожить весь № 5 «Revue étrangère», предоставив издателю взыскивать убытки с цензора О. Сенковского, разрешившего перепечатку пьесы Гюго; в то же время всем цензурным комитетам было предписано не дозволять ни новых перепечаток этой пьесы, ни помещения отрывков и выписок из нее в переводе[4].

9 апреля 1834 г. А. В. Никитенко записал в свой дневник, что тот же Уваров «приказал не пропускать» русский перевод «Notre Dame de Paris», хотя при этом «отзывался с великой похвалой об этом произведении». «Министр,—продолжает Никитенко,—полагает, что нам еще рано читать такие книги, забывая при этом, что Виктора Гюго и без того читают в подлиннике все те, для кого он считает это чтение опасным»[5].

Общеизвестен рассказ того же Никитенко о том, как в начале 1835 г. он, по приказанию Николая I, попал на гауптвахту за пропуск напечатанного в «Библиотеке для Чтения» перевода (М. Деларю) одного из стихотворений Гюго «Красавице»[6].

По свидетельству П. А. Вяземского, непосредственно Николаем I было запрещено также представление на русской сцене известной драмы Гюго «Марион Делорм»: «Bressan хотел дать для своего бенефиса Marion de Lorme, уже пропущенную с некоторыми обрезками театральною цензурою и графом Орловым. Волконский потребовал пиесу и показал ее государю. Она подана ему была 14 декабря. Он попал на место, где говорится о виселицах, бросил книжку на пол и запретил представление»[7].

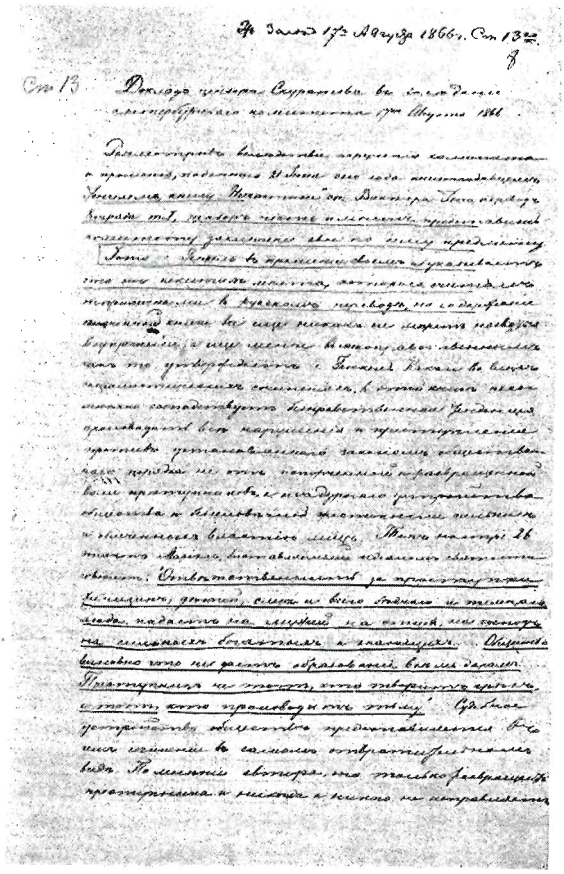
В течение ряда последующих лет новые переводы произведений В. Гюго почти не появлялись: кроме подозрительного отношения со стороны цензуры к писателю, зарекомендовавшему себя предосудительной социальной тематикой своих романов, сыграли роль также общие распоряжения против проникновения в Россию французских романов, издававшиеся неоднократно в начале тридцатых годов и еще раз подтвержденные в 1847 г. События же 1848 г. и позиция Гюго по отношению к «Наполеону-маленькому», истолкованная более обще—как неуважение к носителю верховной власти вообще, — сделали и самое имя его опальным. В 1852 г. цензор Г. Дукшта-Дукшинский представил следующий отзыв о книге В. Гюго «Napoléon le Petit» (Londres, 1852):

«Исполненный ненависти против Лудовика Наполеона за разрушение планов партии беспорядка, которой автор признает себя поборником, Виктор Гюго излил в сей книжке всю желчь свою против президента французской республики, употребляя для сего всё свое красноречие и вдохновение поэзии. Это памфлет или, лучше сказать, пасквиль, в котором Гюго представляет Лудовика Наполеона не только политическим преступником и клятвонарушителем, но самым низким злодеем и мошенником... осыпает укоризнами людей, содействовавших в перевороте 2 декабря и участвующих в правлении Франции, возбуждает к восстанию народ и предвещает падение нового Нерона Франции. Сравнение дел президента с делами императора Наполеона, представленное, в отношении к первому, в карикатурном виде, и обещание Франции божественного управления, под которым автор понимает торжество революции, довершают цель автора, стремящуюся к унижению Лудовика Наполеона и к ободрению революционеров. Такое предосудительное направление памфлета усугубляется еще резкими выходками против политики государей и, в особенности, против России».

На основании этого отзыва знаменитый памфлет Гюго был «запрещен безусловно»[8].

Весьма длительные и сложные цензурные пертурбации испытал роман «Les Misérables», с которым впервые цензура столкнулась в 1862 г. в связи с т.т. VII—VIII французского издания (Bruxelles, 1862).

«Эти два тома, описывающие события первых лет Июльской монархии,—писал о них цензор Комаровский,—носят политический характер более, чем тома предшествующие. Общие взгляды автора-демагога, по моему мнению, должны были вызвать запрещение этого произведения, если бы только оно не пользовалось такою известностью и не читалось бы во всей Европе. В подобных случаях, впрочем, достаточно



СТРАНИЦА ИЗ ДОКЛАДА ЦЕНЗОРА СКУРАТОВА ОТ 17 АВГУСТА 1866 г. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАДЕРЖАТЬ I ТОМ РОМАНА ГЮГО „НЕСЧАСТНЫЕ" (ИЗДАНИЕ ГЕНКЕЛЯ)

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

редких, запрещение может оказаться более вредным, чем разрешение. Запрещенные книги, в конце концов, всегда проникнут в публику (так как нет книги, которой нельзя было бы при желании достать в Петербурге), и в этом случае они приобрели бы в глазах читателей лишнюю привлекательность от тайной их известности и прелесть запрещенного плода. Есть, однако, два места романа, которые я считаю нужным отметить, так как они имеют вид особых формул и идейно соответствуют друг другу, выражая параллельные теории. В одном (т. VII, стр. 53) автор одобряет в принципе революции и осуждает возмущения, в другом (т. VIII, стр. 135—139, 344, 345) он хвалит восстание и бунт. Я отмечу еще безусловное одобрение корифеев XVIII века (т. VII, стр. 473, 474) и то, как автор развивает мысль, что чувство революционное есть чувство нравственное (там же, стр. 477). Так как эти отрывки не очень длинны и не очень многочисленны, то я и предложил бы комитету раньше, чем уродовать большое произведение, остальная часть которого уже пропущена, представить эти отрывки на благоусмотрение г. управляющего министерством»[9].

Потребованные цензором исключения были сделаны, и оба тома были «разрешены к обращению».

Иное отношение цензуры встретили русские издания этого романа. В том же 1862 г. состоялось высочайшее повеление о недопущении русских переводов «Les Misérables» на том основании, что «последние тома романа имеют самое вредное направление» и особенно отрывок—разговор сенатора и епископа, где, по мнению цензора, «развиты основные мысли материализма» и «ясно высказывается одностороннее стремление автора-демократа подорвать религию и монархию». За допущение к печати

в № 16 «Русского Вестника» за 1862 г. этого отрывка одному из цензоров был объявлен «по высочайшему повелению» выговор. Однако, несмотря на это, в 1866 г. издатель Генкель попытался всё же выпустить роман отдельным изданием, исключив из него наиболее предосудительные с цензурной точки зрения места. Попытка эта не удалась: цензуре сделанные купюры показались недостаточными, целиком сохраняющими «безнравственную тенденцию» этого «социалистического сочинения».

«Хотя г. Генкель в прошении своем и указывает, что он исключил места, которые считал неприличными в русском переводе, но содержание означенной книги всё еще никак не может назваться безупречным и еще менее высоконравственным, как то утверждает г. Генкель,—писал в своем докладе цензор Скуратов.—Как и во всех социалистических сочинениях, в этой книге несомненно господствует безнравственная тенденция производить все нарушения и преступления против установленного законом общественного порядка не от испорченной и развращенной воли преступников, а из дурного устройства общества и бесчеловечной жестокости сильных и облеченных властью лиц...

Цензор не считает возможным оцензурить эту книгу, так как она вся пропитана социалистическим направлением; да если б это и было возможно, то, по мнению цензора, было бы противно высочайшему повелению дозволить продолжение под цензурою этого перевода. Почему цензор и полагает наложение ареста на первый том оставить в силе на том основании, что это сочинение, уничтожая личную ответственность человека, подкапывает общественную нравственность и что действие его тем опаснее, что по занимательности и роду сочинения оно доступно всякому, даже необразованному, читателю»[10].

В соответствии с этим заключением, Петербургский цензурный комитет нашел, что роман проникнут революционными и социалистическими тенденциями и, ссылаясь на «высочайшее повеление» 1862 г. о запрещении печатания перевода романа на русский язык, наложил арест на книгу и возбудил судебное преследование против издателя книги. Однако, прокурорский надзор и министерство юстиции не признали возможным подвергнуть ответственности издателя судебным порядком, так как «высочайшее повеление» 1862 г. не было объявлено ни издателю настоящей книги, ни содержателю типографии, в которой она печаталась, и первый том романа «Несчастные», в переводе Конради, был выпущен в свет. Это, впрочем, не помешало тем же инстанциям четыре года спустя, в сентябре 1870 г., на основании того же «высочайшего повеления» 1862 г., запретить второй том романа «Несчастные», в издании того же В. Е. Генкеля. Арестованные экземпляры этого издания были уничтожены.

Здесь следует заметить, что на резко-враждебное отношение цензуры к Гюго в это время должна была оказать существенное влияние также позиция писателя в польском вопросе. Отголоски слухов, распространявшихся на этот счет в правительственных кругах, мы встречаем, например, в следующей записи дневника Никитенко: «Говорят, Виктор Гюго написал прокламацию к полякам. Что же делать другого, как не возмущать общество этому высокопарному пустомеле, который, проповедуя равенство, так хорошо умеет обделывать свои собственные дела. Вот он и сейчас преподнес Европе, продав его ей за 400 т. франков, новый гениальный продукт своего уродливого воображения». В последних словах содержится очевидный намек именно на «Misérables»[11].

Уже значительно позднее, в 1880 г., перевод этого романа Гюго, под названием «Отверженные», был начат печатанием в воскресном приложении к газете А. С. Суворина «Новое Время», но приостановлен цензурой, причем с издателя было взято обязательство, что роман будет печататься впредь с исключением из него всех неудобных в цензурном отношении мест. В марте 1882 г. перевод этот, как бесцензурное издание, вышел отдельною книгой без всяких замечаний со стороны цензуры, в

том виде, в каком печатался в газете. Вслед за тем, в 1891 г. товариществом М. О. Вольф было предпринято издание на русском языке «Полного собрания сочинений В. Гюго в переводе русских писателей», куда (т. II) вошел и роман «Несчастные», в переводе Ю. Доппельмайера. Так как этот последний перевод был значительно полнее изданного Суворинym и больше приближался к французскому подлиннику, то вопрос о нем был представлен на разрешение комитета министров, который и запретил выпуск его в свет.

Дальнейшие переводы романа «Les Misérables» на русский язык, ввиду значительного их сокращения против подлинника, пропускались цензурою беспрепятственно, с исключением, однако, отдельных мест. Так, в 1894 г. роман был выпущен в свет в «Сочинениях В. Гюго», том II, издания Ф. Павленкова, на основании следующего отзыва цензора Коссовича: «В том сокращенном виде, в каком этот роман появляется в настоящее время, он содержит в себе лишь фабулу рассказа. Все трескучие либеральные фразы французского подлинника исключены тщательно». Дозволен был роман также в 1897 г., в переводе В. Д. Владимирова, под названием «Отверженцы», издание М. М. Ледерле,—в нем были исключены переводчиком такие «неудобные» места, как встреча епископа с конвенционистом и несколько строк, заключающих порицание современного общественного строя. Также дозволен был, с исключением некоторых мест, роман «Несчастные» в переводе и издании О. Н. Поповой (1902)[12].

Наряду с самим романом систематически подвергались весьма строгой цензуре также драматические его переделки, об одной из которых сохранился пространный доклад цензора И. М. Литвинова (1896 г.) с своеобразным историческим экскурсом в область предшествовавших запрещений переделок этого романа Гюго для сцены. Приводим этот доклад полностью:

«Из имеющихся в делах Драматической цензуры сведений усматривается, что переделка романа Виктора Гюго «Les Misérables» для сцены, в форме драмы под тем же названием, сделанная сыном этого писателя, Шарлем Гюго, была признана неудобной к представлению и запрещена[13]. Равным образом, запрещен был в июне 1881 г. и перевод этой драмы на русский язык Г. Высоцкой[14]. Из сделанной на запрещенном экземпляре надписи усматривается лишь, что перевод драмы «Несчастные» признан неудобным к представлению ввиду запрещения ее французского подлинника. Доклад же, из которого можно было бы видеть подробные мотивы, послужившие поводом к запрещению в свое время драмы Шарля Гюго, в Драматической цензуре не имеется. С достоверностью можно, однако, предположить, что одним из самых главных мотивов к недопущению у нас на сцену драматических переделок романа В. Гюго «Les Misérables»[15] послужило то обстоятельство, что и самый роман, как имевший известный оттенок протеста против некоторых форм общественного устройства Франции, находился в семидесятых годах под цензурным запрещением и разрешен был в русском переводе лишь с некоторыми сокращениями в 1882 г.

Если допущение на театральной сцене произведений, хотя бы и не заключающих в себе ничего противного требованиям цензуры и морали, но заимствованных из источника, находящегося под запретом, является неудобным и несвоевременным, то с устранением таковых запрещений едва ли представляется возможным рассматривать данное произведение с иной точки зрения, как по существу.

Произведения Виктора Гюго, имеющие в глазах публики, главным образом, интерес литературный и чуждые уже в настоящее время так называемых вопросов «злобы дня», должны быть всецело относимы к категории сочинений классических. Приведенный взгляд, принятый в последнее время и Главным управлением по делам печати, послужил, между прочим, основанием к тому, что весьма многие драматические произведения В. Гюго, как например: «Эрнани» и «Рюи Блаз», весьма долгое время находившиеся под запрещением, ныне разрешены.

Основываясь на изложенных соображениях, я полагал бы в настоящее время вполне возможным разрешить переделку романа «Les Misérables», сделанную г. Нотовичем, но с тем, чтобы содержание этой драмы было строго ограничено автором исключительно лишь общегуманными идеями христианской любви и милосердия, положенными Гюго в основание его романа, и чтобы в пьесе были исключены те неудобные места, в которых затрагиваются социальный и экономический вопросы. При этом, по мнению моему, представлялось бы целесообразным и нелишним ограничиться пока разрешением этой пьесы лишь для какого-либо одного, указанного самим автором, столичного театра—императорского или частного, что дало бы Главному управлению по делам печати, с одной стороны, возможность непосредственно наблюсти за правильностью постановки пьесы, а во-вторых, в случае надобности, во всякое время снять ее с репертуара»[16].

Упоминаемое в этом докладе запрещение «Эрнани» (1884 г.) выясняется из следующего донесения цензора П. Фридберга: «Хотя драма эта, в сокращенном виде и в форме либретто на итальянском языке, для оперы Верди того же названия, и была разрешена цензурою III отделения собственной его величества канцелярии, но я находил бы неуместным дозволить ее для русской сцены, так как она построена на заговоре испанских грандов против законного их монарха Дон-Карлоса. Предполагаемое запрещение представляется тем более основательным, что почти все драмы Виктора Гюго, по его собственным словам, направлены к тому, чтобы уронить значение монархической власти. В предисловии к полному изданию драматических его произведений выражена, между прочим, следующая мысль: „Краска выступит на лицах королей, когда они увидят себя так верно изображенными в моих произведениях“».

Начальник Главного управления по делам печати, Е. М. Феоктистов, согласился с мнением цензора, и пьеса была запрещена[17]. Однако, два года спустя, в 1886 г., тому же цензору П. Фридбергу снова пришлось решать вопрос о возможности театральной постановки «Эрнани». Из нового его доклада видно, что наиболее смущала его самая фигура Эрнани (Гернани) — «разбойника и заговорщика, замышляющего убийство государя»; цензору, очевидно, этот образ казался слишком злободневным в связи с недавним сравнительно убийством Александра II и не прекращавшейся террористической деятельностью народовольцев. Но Феоктистов оказался на сей раз благосклоннее и признал возможным разрешить пьесу с некоторыми исключениями, ограничив, впрочем, это разрешение исключительно столичными театрами. Лишь в 1904 г. она была дозволена цензурою для исполнения в провинции. Для народных же театров пьеса «Гернани» (перевод С. С. Татищева) даже и в 1907 г. была «признана к постановке несвоевременной»[18].

Возвращаясь к другим произведениям В. Гюго, отметим, что в 1873 г., по докладу цензора А. С. Любовникова, была запрещена поэма Гюго «La libération du territoire» (Paris, 1873), так как она, по словам цензора, «содержит в себе предосудительные выходки против власти государей и заканчивается воззванием к народу французскому терпеть, думать постоянно о возмездии и ожидать всеобщей республики»[19].

Начиная с 1867 г., неоднократно подвергался запрещению перевод небольшого рассказа В. Гюго «Клод Гё», «как направленный к потрясению существующего, законом установленного порядка»[20]. Лишь однажды, в собрании сочинений Гюго, среди других произведений, рассказ этот был пропущен с подробной о том мотивировкой цензора. Мотивировка эта, представляющая своеобразную характеристику всего творчества Гюго, заслуживает быть опубликованной целиком.

«Фирма «Товарищество М. О. Вольф»,—писал цензор П. Г. Сватковский,—предположила издать в пяти томах «Полное собрание сочинений Виктора Гюго в переводе русских писателей». Ныне в представленном в цензурный комитет первом томе (которому назначена цена 6 руб.) помещены: Ганс исландец, Бюг Жаргаль, Последний

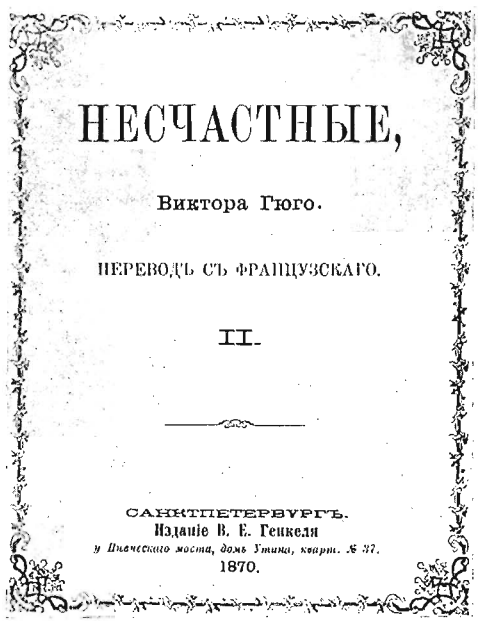
день приговоренного к смерти, Клод Гё, Собор парижской богоматери, Труженики моря и Девяносто третий год.

Между всеми этими произведениями В. Гюго с цензурной точки зрения возбуждает особенное внимание статья: Клод Гё, на стр. 269—278, потому что в индексе книг на русском языке, запрещенных к обращению и перепечатыванию в России, значится книга: Гюго, Виктор. Клод Гё, перевод с французского. Цена 15 коп.

Если бы «Клод Гё» вышло новым изданием, отдельною брошюрою, то цензор без колебания считал бы себя обязанным воспрепятствовать ее появлению в свет, но в настоящем случае статья эта, напечатанная в полном собрании сочинений, принимает другое значение и другой смысл, заимствуя свой характер от прочих статей; почему цензор считает долгом представить на благоусмотрение комитета свое мнение о свободном пропуске этой статьи, без исключений.

Всякий, кто несколько ознакомлен с манерою рассказа Виктора Гюго, согласится, что этот гениальный писатель—весьма отважный энтузиаст. Он постоянно в каком-то гениальном чаду, в сверхъестественном экстазе, гордый своим нравственным и умственным превосходством, выискивает во всем, даже в самых простых, ежедневных явлениях жизни людей, наиболее обыденных, вопиющие, по его мнению, общественные задачи, следы политических промахов, роковые тайны законов природы; с крайне преувеличенным пафосом и сарказмом громит то, что ему кажется злом, преступлением или пороком, и умиляется до сладострастной неги в хвалебных гимнах тому, что он лично принимает за великое и благое. Пощады у него нет никому, он смело судит по-своему о сильных и слабых, злодеях и великих гениях, могуществе и бессилии, судит их в пламенных речах и в громких гармонических стихах. Но он вовсе не серьезный учитель морали, он лишь чародей, увлекающий читателей в фантастический мир.

Все его произведения носят на себе отпечаток театральной обстановки, все герои его загримированы, чтобы яснее обозначить навязанные им характер и наклонности; обстановка действия необычайно роскошна, всюду блестят краски, золото, мишура, всюду театральное освещение, всюду феерия. Читатели считаются им за каких-то досужливых, праздных зрителей, сидящих пред ним в прекрасной театральной зале,


НЕСЧАСТНЫЕ,

Виктора Гюго.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО.

II.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе В. Е. Генкеля
у Пчачскаго моста, домъ Утина, кварт. № 37.
1870.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ II ТОМА РОМАНА „НЕСЧАСТНЫЕ“ ВИКТОРА ГЮГО (ИЗДАНИЕ ГЕНКЕЛЯ), ЗАДЕРЖАННОГО И УНИЧТОЖЕННОГО ПО ТРЕБОВАНИЮ ЦЕНЗУРЫ, 1870 г.

где он на театральных подмостках рисуется перед ними, лицедействует, волнует склонную к забавам публику фантастическими ужасами, страшными рассказами о несчастных жертвах будто бы общественного или политического неустройства.

Видя всю эту напыщенную обстановку во всех произведениях пылкого воображения В. Гюго, цензор не может заметить чего-либо исключительного в статье «Клод Гё». Слишком уже яркими и нежными красками окрашен и фантастически освещен вор и убийца Клод Гё, которого будто голод и холод толкают в объятия преступления, и слишком уже болтлива и цветиста речь восторженного романиста о необходимости отмены смертной казни, чтобы возможно было видеть в статье серьезное оправдание преступлений, учение о невменяемости или серьезное осуждение смертной казни вообще.

В отдельном издании эта статейка в 9½ страниц, не освещенная общим колоритом театральной торжественности других произведений, очевидно, непригодна для народного чтения, может быть не понята и необразованному человеку может быть растолкована с вредною тенденциею, но этот опасный характер ее совершенно исчезает в массе других произведений того же рода»[21].

В 1889 г. была запрещена цензурой переделка (А. Юрьевой) романа «Человек, который смеется», под названием «Гвинплен. Горе—смех», так как «перед читателями переделки вместо чудных и художественных картин и образов оригинала, тщательно прикрывающих социальную мысль автора, восстает во всей неприглядной наготе безобразный и саркастический оскал писателя над глубокою рознью имущих и неимущих»[22]; другая переделка того же романа, «Зубоскал», не была дозволена к напечатанию, «как произведение тенденциозное», а по объему и изложению предназначаемое к распространению, по преимуществу, в малограмотной среде[23]. А в 1891 г. комитетом министров был запрещен и самый роман в упоминавшемся уже «Полном собрании сочинений В. Гюго в переводе русских писателей» (т. II)[24].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Разработке темы Гюго в России посвящена во II томе настоящего издания специальная работа М. П. Алексеева, Виктор Гюго и его русские знакомства, к которой мы и отсылаем читателя.

[2] СПб. ценз. к-т, 1831 г., д. № 207598, л. 1.

[3] Главное управление цензуры, 1831 г., д. № 147068, л. 3; по тем же причинам был запрещен «Бюг Жаргаль» и в 1832 г. в переводе Лазарева (Главн. управл. цензуры, 1832 г., д. № 147185, лл. 1—2). Ср. также [В. В. Стасов], Цензура в царствование императора Николая I. («Русск. Старина», 1903, № 2, стр. 321).

[4] «Русск. Старина», 1903, № 3, стр. 573.

[5] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. I, СПб. 1905, стр. 240.

[6] Там-же, стр. 256—258.

[7] П. А. Вяземский, Старая записная книжка, Л. 1929, стр. 79.

[8] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1852 г., № 1915. Разрешение на «обращение» этого сочинения Гюго в России было дано лишь в 1897 г. (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1897 г., № 8010).

[9] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1862 г., № 1951. Подлинник по-французски.

[10] СПб. ценз. комитет, 1866 г., д. № 82, лл. 8—9.

[11] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. II, СПб. 1905, стр. 117. Ср. «Книжн. Вестник», 1862, № 24, стр. 500—503.

[12] Особая канцелярия министра народного просвещения, 1862, д. № 106; СПб. ценз. к-т, 1870 г., д. № 55; 1894 г., д. № 177; 1902 г., д. № 57; Главн. управ. по делам печати, III отд., 1891 г., д. № 69.

[13] Запрещена к представлению Главным управлением по делам печати в 1875 г. на основании отзыва цензора П. И. Фридберга, что «талантливое перо В. Гюго, выражая горячее сочувствие ко всему высокому и изящному, даже нравственному и религиозному, вместе с тем, вносит в область практического приложения проводимых им неоспоримых истин значительную долю парадоксальных и субверсивных суждений и выводов, так что читатель или зритель невольным образом увлекается на скольз-

ком пути коммунистического учения, которое, естественно, расшатывает самое здание и основы современного общественного строя» (журналы заседаний совета Главн. управ. по делам печати за 1875 г., № 5, п. III).

[14] Сведения о причинах запрещения этого перевода в материалах Драматической цензуры отсутствуют.

[15] В 1878 г. был запрещен перевод драмы «Les Misérables» под названием «Каторжник» (Главн. управ. по делам печати, журналы заседаний совета за 1878 г., № 60, п. V).

[16] Начальник Главного управления по делам печати, М. П. Соловьев, в своей резолюции согласился с мнением цензора. Драм. ценз., 1896 г., д. № 36, лл. 4—5.

[17] Драм. ценз., рапорты за 1884 г., № 1.

[18] Драм. ценз., 1904 г., д. № 23, л. 1; рапорты за 1886 г., № 66; 1907 г., л. 39. О причинах благосклонности Феоктистова см. дальше, в «Заключении».

[19] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1873 г., № 4365. Лишь в 1897 г. эта поэма была допущена к обращению в России (рапорты за 1897 г., № 8009).

[20] См. СПб. ценз. к-т, 1895 г., д. № 191, л. 1; 1899 г., д. № 209, л. 1; 1901 г., д. № 202, л. 3.

[21] СПб. ценз. к-т, 1886 г., д. № 78, лл. 2—3, 4.

[22] СПб. ценз. к-т, 1890 г., д. № 144, л. 1.

[23] СПб. ценз. к-т, 1891 г., д. № 144, л. 3.

[24] Главное управ. по делам печати, III отд., 1891 г., д. № 69, л. 23. Приведя в тексте наиболее существенные моменты отношений царской цензуры к произведениям Гюго, укажем здесь дополнительно на другие цензурные действия, имевшие место в отношении французского писателя. Из других сочинений Виктора Гюго иностранной цензурой были запрещены или дозволены с исключением некоторых мест к обращению в России следующие: «Cromwell (Drame)», Paris, 1854. Запрещено в 1855 г. (рапорты Варшавского цензурного комитета за 1854 г., № 2666); «Le Pape», Paris, 1878. Запрещено в 1878 г. и дозволено только в 1897 г. (рапорты за 1897 г., № 8012); «Œuvres complètes de V. Hugo», vol. XIII, Paris, 1881. Дозволено с исключением поэмы «Le Pape» (рапорты за 1881 г., № 2924); «Les Travailleurs de la mer», Paris. Дозволено с исключением в I томе некоторых мест, и др.

Из переводов на русский язык запрещены: в 1874 г.—перевод романа «Девяносто третий год», предназначенный для журнала «Переводы Отдельных Романов» (отзыв цензора: роман «написан в духе сочувствия революции»), и статья для журнала «Сияние», под названием «Виктор Гюго и его роман „1793 г.“» (СПб. ценз. к-т, 1868 г., д. № 56, л. 36). В 1886 г. запрещен перевод стихотворения «2 декабря 1852 г.» для книги «Избранные места из сочинений В. Гюго» на основании отзыва цензора Сватковского, что стихотворение представляет «дерзкий памфлет на Наполеона III, неприличный по циническому описанию сцен ночи политического переворота во Франции 2 декабря 1852 г.» (СПб. ценз. к-т, 1886 г., д. № 28, л. 85). В 1887 г. запрещен перевод рассказа «Шпион Гюбер» для подцензурного журнала «Северный Вестник», ввиду того, что «типы республиканцев изображены в крайне привлекательном свете» (СПб. ценз. к-т, 1885 г., д. № 43, л. 63).

В том же году не пропущен рассказ для народа «Архиерей и разбойник» (по роману «Les Misérables»), на том основании, что «для образованного читателя такой рассказ понятен, но простой человек выведет ложное представление о необходимости прощения и непреследования воровства, о невменяемости преступления» (СПб. ценз. к-т, 1887 г., д. № 13, л. 11). В 1897 г. запрещена для народных театров драма «Шут» («Le roi s'amuse»), в переводе Д. Лобанова, ввиду отзыва цензора И. Литвинова, что «французское правительство держало ее под запрещением 50 лет и только при 3-й республике она была разрешена к представлению» и что, по его убеждению, «пьеса не может быть дозволена к представлению на театрах вообще, а на народных тем паче» (Драм. ценз., рапорты за 1897 г., л. 114). В 1886 г. запрещен перевод избранных речей В. Гюго, предназначавшийся для «Библиотеки европейских писателей», ввиду отзыва цензора В. Юза, находившего, что «из первых страниц издания усматривается сила и страстность языка В. Гюго в изложении идей о праве, законе, свободе, равенстве, братстве и что появление в свет в России отдельного издания речей знаменитого поэта и политика едва ли желательно» (СПб. ценз. к-т, 1886 г., д. № 28, л. 7).

Наконец, в 1902 г. комитетом министров была запрещена и уничтожена книга «1802—1902. Виктор Гюго. Поэт и гражданин. Биографический очерк О. Н. Поповой», ввиду отзыва С.-Петербургского цензурного комитета, что в ней «автор проводит мысль о преимуществе республиканского образа правления перед монархическим и сочувствует деятельности В. Гюго, как противника монархического начала» (Главн. управ. по делам печати, III отд., 1902 г., д. № 41).

III. П. БЕРАНЖЕ—О. БАРБЬЕ

Июльская революция во Франции,—поскольку о ней узнавали из случайных и сильно урезанных цензурой газетных сообщений,—вызвала в довольно широких кругах русского общества сочувственное к себе отношение. Там, наверху социальной лестницы, коронованный жандарм Европы, Николай I, неистовствовал, получая сведения о нарушении легитимистских принципов, читая французские газеты, восхвалявшие Луи-Филиппа, «roi simple et bourgeois», превозносившие «простые и буржуазные нравы короля—хорошего семьянина, деятельного собственника, ловкого и предприимчивого промышленника и притом друга искусства и литературы»[1]. Скромного и благонамеренного профессора А. В. Никитенко мало тревожили принципы легитимизма; для него важнее было то, что «Франции удалось оттолкнуть от себя руку, готовившуюся сковать ее цепями», что «в три дня в ней остались одни развалины от безумного деспотизма, который стремился в ней водворить Карл X»[2]. Между этими двумя крайними взглядами на Июльскую революцию располагалась целая гамма отношений к ней, отношений более близких, впрочем, ко второму взгляду, нежели к первому. «Июльская революция,—вспоминал позднее А. И. Дельвиг,—тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати»[3]. Социальным группам, удаленным от «знати», этого непосредственного источника информации, благодаря постоянной и близкой связи с иностранными посольствами и возможности пользоваться сообщениями заграничной прессы, оставалось питаться скудными слухами и—молчать, удерживая при себе приходящие на мысль выводы и соображения. «Что у нас говорят о сих событиях?—записывает в своем дневнике А. В. Никитенко,—у нас боятся думать вслух, но, очевидно, про себя думают много»[4].

На фоне интереса к политическим событиям обостряется интерес и к литературе, порожденной революцией; в частности, в это время начинается в России известность П. Беранже и О. Барбье, известность, с течением времени всё более расширяющаяся, переходящая в подлинную популярность, несмотря на все цензурные рогатки и препоны.

Впрочем, Беранже проник в Россию еще в первой четверти XIX в. (тогда же появились и первые переводы из него) и даже приобрел некоторое количество почитателей, например, В. Л. Пушкина[5]. Однако, в это время в России (как и во Франции), по позднейшему замечанию Н. Г. Чернышевского, Беранже «не понимали, считая его не более, как певцом гризеток»[6]. Бóльшее понимание политической направленности песенок Беранже обнаружила, в данном случае, царская цензура, запретившая в 1831 и 1833 гг. два сборника: «Chansons de P. J. Béranger. Supplément» (Paris, 1831) и «Chansons nouvelles et dernières de Béranger dediées à M. Lucien Bonaparte» (Bruxelles, 1833).

О первой из этих книг в журнал заседаний Петербургского комитета цензуры иностранной (14 мая 1831 г.) было занесено следующее: «По отзыву г. цензора Дукшинского, помянутая книжка состоит из трех отделений: 1) Chansons politiques, 2) Chansons grivoises и 3) Chansons attribuées à P. J. Béranger. Помещенные в первом из сих отделений сатиры против бывшего правления Франции и духовенства содержат в себе насмешки на счет самодержавной власти и религии; песни второго отделения наполнены картинами бесстыдства и разврата, а стихи последнего отделения, сочиненные на предметы отчасти политические, отчасти же эротические, написаны в том же предосудительном духе, как и песни предыдущих отделений». Поэтому цензор ходатайствовал о полном запрещении этой книжки. Комитет, со своей стороны, признавая книжку «по революционному, нечестивому и безнравственному духу ее противною цензурным правилам, положил: запретить оную безусловно»[7].

Несколько иначе отозвался цензор В. Соц о втором из названных выше сборников: «Господин Беранже, находя теперешние политические обстоятельства и состояние умов во Франции неблагоприятными для народной и сатирической музы, намерен остальное время жизни своей посвятить составлению исторического и анекдотического словаря о современниках и, таким образом, удаляясь с прежнего своего поприща, объявляет, что сие третье собрание новейших его произведений есть уже последнее». Отметив несколько стихотворений, подлежащих «осуждению в цензурном отношении» («Les reliques», «Le proverbe», «Conseil aux Belges», «Les tombeaux de Juillet»), цензор полагал, что «по исключении вышеозначенных страниц, содержащих в себе приведенные предосудительные места, книга сия может быть выпущена в публику». *Цензурный комитет, однако, распространение книги запретил*[8].

Последствием этих запрещений явилось то, что стихи и песни Беранже в России на ряд лет сделались достоянием лишь немногих избранных; популярность его для широких кругов читателей зачастую ограничивалась лишь рассказами о нем, об его песнях. «Знали,—писал в 1858 г. Н. А. Добролюбов,—что Беранже сочиняет хорошие песни, но этим все сведения и ограничивались. Переводов этих песен почти не было, а если и появлялись они, то всегда, по какой-то странной случайности, выбор переводчиков падал на самые невинные вещи Беранже, и печатались эти переводы, тоже по какой-то особенной скромности, с невинным изъяснением: с ф р а н ц у з с к о г о, а иногда и вовсе без изъяснения»[9]. Впрочем, и в это время в представлении многих Беранже, как поэт, стоял чрезвычайно высоко. Белинский в одной из статей о Пушкине называет Беранже «народным поэтом» Франции, а в письме к В. П. Боткину в 1841 г. пишет, что «боготворит» его: «Это французский Шиллер, это апостол разума, в смысле французов, это бич предания. Это пророк свободы гражданской и свободы мысли»[10]. Песни Беранже переводили петрашевцы Дуров и Кашкин, считая его своим любимым поэтом[11]. В 1845 г. Беранже собирался переводить Ап. Григорьев и перевод этот считал «за notion méritoire, ибо это—поэт истины, поэт будущего»[12].

В середине пятидесятых годов, в связи с общественным подъемом после севастопольского разгрома, наступает некоторое ослабление цензурных строгостей, и стихотворения Беранже не только беспрепятственно проходят на страницах журналов, но разрешаются и в отдельном издании: в 1858 г. выходит знаменитый сборник переводов В. С. Курочкина, явившийся настоящим литературным событием, характеризующим эпоху[13]. Кроме печатных изданий, по рукам ходили во множестве рукописные списки переводов некоторых песен Беранже, которые не могли рассчитывать на милость цензуры, при всем ее «либерализме»; насколько широко было распространение этих списков, видно хотя бы из того, что с одним из них познакомился возвращавшийся из ссылки Т. Шевченко, получивший его на Волге от капитана волжского парохода[14]. Одновременно начинается и борьба вокруг Беранже в печати: если для критиков «Библиотеки для Чтения» или «Русского Вестника» Беранже—только безыскусственный певец, сочиняющий свои песни так же легко и беззаботно, как поет птица, и так же беспредметно, то революционно-демократическая критика в пределах возможного подчеркивала революционность и свободолюбие французского поэта. «Беранже,—писал о нем Добролюбов в цитированной уже статье,—судя по его песням и по его собственным признаниям, был... один из немногих людей, обладающих... высшим, гуманным взглядом. Очень может быть, что он и не выработал своих воззрений с последовательностью и строгостью теоретика, но он ясно сознавал и сильно чувствовал их инстинктом своей благородной натуры. Инстинкт этот далеко возвышался над мелкими интересами враждебных партий; он всею силою своей направлялся в одну сторону—к достижению блага народного. Кто более делал или даже только желал, обещал сделать для народа, кто приобретал народную любовь, к тому стремились и симпатии поэта»[15]. В терминологии Добролюбова, хорошо зна-

комой и его читателям, термин «народный» был равнозначащ термину «революционный», ибо для критика «народ» был именно тем «классом», который таил в себе революционные возможности.

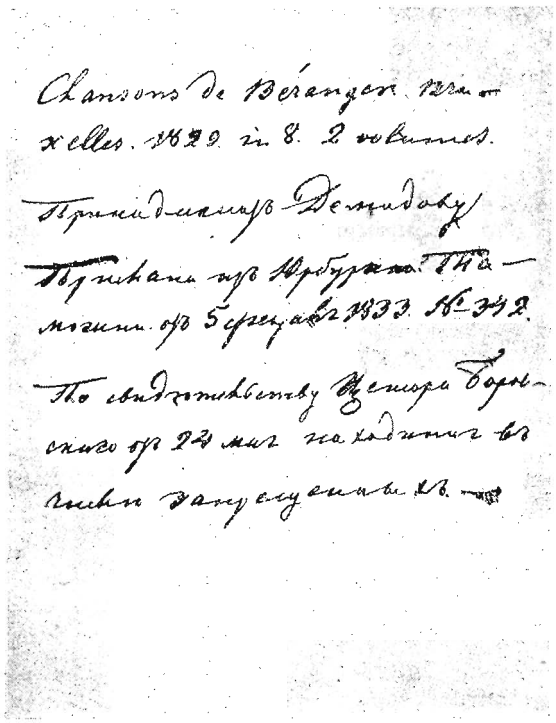
В связи с этой возросшей популярностью Беранже цензура снова обратила на него внимание; ближайшим поводом для этого оказалась переводная статья «Беранже и его политические мнения» в «Московских Ведомостях» (1858, №№ 6, 7). Статья была беспрепятственно пропущена московской цензурой, но затем обратила на себя внимание министра народного просвещения, А. С. Норова, который обратился к попечителю Московского учебного округа, Е. П. Ковалевскому, со следующим посланием:

«Газета «Московские Ведомости» имеет в глазах читающей публики характер официальный или полуофициальный. Она издается от имени Импер. московского университета и составляет его собственность. К тому же эта газета имеет в России едва ли не бóльшее, в сравнении с другими периодическими изданиями, число подписчиков и читателей. Во внутренней за-московской России она читается и в городах и в селах, людьми образованными и простолюдинами. Все сии соображения возлагают на редакцию ее особенную обязанность, особенные условия и предусмотрительность при выборе статей, в ней помещаемых. Редакция нередко отступает от этих правил и не довольно внимательно и строго соображается с разнородным кругом читателей, которых она должна иметь в виду. В 6 и 7 №№ «Московских Ведомостей» нынешнего года напечатана статья под заглавием: «Беранже и его политические мнения». Такая статья совершенно неуместна в подобной газете. Неумеренно похвальные отзывы о литературном и политическом значении Беранже могут ввести многих читателей в заблуждение. Редакция не могла не знать, что некоторые из стихотворений поэта носят на себе характер противурелигиозный и противунравственный; что они подвергались во Франции, во время конституционного правления, всей строгости законов, относящихся до злоупотреблений печати, что сам автор за сочинения свои присужден был к тюремному заключению и, наконец, что французские сочинения Беранже у нас запрещены по распоряжению цензуры иностранной. Знакомить многочисленную и вместе с тем необразованную часть читающей публики в России с таким автором, каков Беранже, вовсе неуместно, а ставить его еще в какой-то образец гражданских доблестей—крайне неблагоразумно и до некоторой степени предосудительно.

Вследствие сего покорнейше прошу ваше превосходительство поставить на вид редакции «Московских Ведомостей» и цензору ее неприличие помещения помянутой статьи в газете общенародной и к тому же издаваемой под ведомством правительственного и высшего учебного учреждения; засим внушить им, чтобы впредь в издании этой газеты согласовались они внимательнее с целью ее, которая должна заключаться в распространении полезных сведений, здравых понятий и нравственного учения, способствующих духовному и умственному образованию народа, всегда строго воздерживаясь от всего, что возбуждает одно праздное, а часто и неблагоразумное любопытство и увлекает умы в исключительные сферы политических страстей, теорий и партий»[16].

Несмотря на министерский нагоняй, иностранная цензура всё же разрешила в 1860 г., с немногими исключениями, новое издание Беранже: «Le Béranger des familles» (Paris, 1859). В своем докладе цензор Н. Лебедев писал об этой книге:

«Полное собрание стихотворений Беранже запрещено иностранною цензурою частию для публики, частию безусловно. Такому запрещению подверглись предыдущие издания потому, что в них заключалось весьма много стихотворений, противных религии или эротического содержания, исключение которых было неудобно; но, как известно, на русском языке вышла небольшая книжка его стихотворений, в переводе Курочкина, поэтому, мне кажется, и иностранная цензура не обязана безусловно держаться прежнего решения и не допускать в публике никаких стихотворений Беранже.



НАДПИСЬ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ „CHANSONS DE BERANGER", СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩАЯ, ЧТО КНИГА БЫЛА ЗАДЕРЖАНА НА РУССКОЙ ТАМОЖНЕ, 1833 г.

Публичная библиотека, Ленинград

Рассмотренное мною собрание стихотворений этого автора составляет, так называемое, очищенное издание, в котором выпущены все непристойные в религиозном и нравственном отношении песни. Тем не менее, мне показались предосудительными: стихотворение «L'échelle de Jacob» на страницах 201—203, две последние строфы на странице 233 в стихотворении «Le 14 Juillet», стихотворение «Hâtons-nous» на страницах 263—264, последняя строфа на странице 267 в стихотворении «Poniatowski» и всё стихотворение «Le déluge» на странице 303. С этими исключениями я считаю возможным позволить новое издание песней Беранже к обращению в публике».

Цензурный комитет оказался в данном случае даже либеральнее цензора и дозволил весь сборник, за исключением лишь двух стихотворений: «Hâtons-nous» и «Le déluge»[17].

К 1866 г. относится сложная волокита с новым, шестым изданием переводов В. С. Курочкина. Следует заметить, что еще в 1863 г., в связи с начавшимся наступлением реакции, цензура запретила предполагавшееся отдельное издание стихотворений «Безумцы», «Птицы» и «Сон бедняка», разрешив, впрочем, внести их, с исключением двух строк о Христе («Безумцы»), в сборник стихотворений Беранже[18]. После каракозовского выстрела, в эпоху муравьевского истребления всякой крамолы, однако, сборник переводов Курочкина снова привлек к себе внимание цензуры. В своем докладе об этой книге цензор Ф. Еленев особенно останавливался на трех стихотворениях: «Кукольная комедия», «Безумцы» и «Маркиз де Карабà». «Стихотворение „Безумцы",—писал он,—представляет восторженное восхваление корифеев коммунизма: Сен-Симона, Фурье и Анфантена»; впрочем, по мнению цензора, здесь «не высказывается, однако ж, самых идей этого противообщественного учения, и потому для читателя, незнакомого с сочинениями упоминаемых писателей, стихотворение это не представляет никакого определенного содержания»[19]. Усмотрев в настроениях цензора перспективу возможного соглашения, Курочкин выторговал сохранение в книге «Маркиза де Карабà» и обратился в Главное управление по делам печати

с просьбой дозволить книгу к выпуску, исключив лишь «Кукольную комедию» и «Безумцы». Главное управление передало книгу на новый отзыв И. А. Гончарову, который представил о ней весьма любопытный доклад, крайне сурово отнесшись к переводам Курочкина и к успеху, которым они пользовались у читателей.

«В представлении комитета,—писал Гончаров,—верно определен характер песен Беранже, в которых развивались и выражались тенденции вольности, равенства, честного труда, честного веселья в контрасте с богатством, праздностью и проч., как они параллельно развивались в низших классах французского общества. Но всё это выражается, во французском подлиннике, в умных, тонких, игривых и иногда энергических куплетах Беранже.

В русском переводе, напротив, по бездарности переводчика, вышел бесхарактерный сбор неуклюжих стихов, ни к чему не относящихся, каких-то темных, местами непонятных намеков, и вся книга вообще едва стоит выше наших старых песенников, услаждавших досуги лакейских и девичьих.

Из трех капитальных пиес, послуживших поводом к задержанию книги, а именно «Безумцы», «Кукольная комедия», «Маркиз де Карабà», следовало бы, по моему мнению, предложить Курочкину исключить только первую, т. е. «Безумцы», и то потому разве, чтобы не знакомить тот круг читателей, в котором будет обращаться книга автора, с именами Фурье, Сен-Симона и Анфантена, потому что, кроме имен их, сказано о них только, что они были великие люди.

В «Кукольной комедии» рассказано, что капитан невольничьего судна заставляет забыть негров о своем рабстве не бичами, а кукольной комедией, говоря им в каждом куплете: «рабы, смотрите, как смешно!».

Если даже и обобщить эту плохую аллегорию, то и тогда трудно было бы приложить ее к чему-нибудь в современном русском быту, особенно после освобождения крестьян от крепостной зависимости.

«Маркиз де Карабà» представляет образчик глупого и чванливого барства, но такой допотопной эпохи, что едва ли напомнит собою не только тип наших помещиков, но даже и феодальных баронов или испанских грандов старого времени, потому что этот барин ставит себя выше короля и проч.

Книга г. Курочкина выходит шестым изданием и, вероятно, повредила уже многим, дав образцы изложенных в переводе мыслей и стихов и дурно действуя на эстетическое развитие ее читателей, но по этой особенно причине она всего менее представляет вреда в цензурном отношении»[20].

В. Е. Евгеньев-Максимов, впервые опубликовавший этот доклад, сопроводил его замечанием о том, что «литературный вкус и критическое чутье иногда странным образом изменяли Гончарову, конечно, не Гончарову—автору «Обломова», а действительному статскому советнику Гончарову, Гончарову-цензору». Очевидно, однако, что в данном случае следует говорить не об «измене вкуса», а об определенных вкусах определенных групп читателей, среди которых переводы Курочкина вызывали отнюдь не одни только похвалы, но подчас и осуждения, и именно в том самом направлении, в каком осуждал их и Гончаров[21].

Возвращаясь к докладу И. А. Гончарова, отметим, что в Совете по делам печати он вызвал разнобой в мнениях. Часть членов (Ф. И. Тютчев, М. Н. Турунов, Т. М. Толстой) согласилась с докладчиком, председатель же (М. П. Щербинин) и остальные члены (Н. В. Варадинов, В. М. Лазаревский, А. Г. Петров и В. Я. Фукс) требовали исключить также и стихотворение «Кукольная комедия», считая это необходимым для поддержания авторитета Петербургского цензурного комитета, который-де уже вел соответствующие переговоры с переводчиком. Министр внутренних дел, П. А. Валуев, утвердил последнее мнение[22].

Последнее по времени столкновение цензуры с Беранже имело место в 1892 г., когда

КАРЛ ВЕЛИКИЙ ПРИНИМАЕТ ПОДАРКИ, ПОСЛАННЫЕ ГАРУН-АЛЬ-РАШИДОМ
Справа — Папа возлагает на Карла императорскую корону
Миниатюра Симона Мармиона (?) из рукописи „Grandes Chroniques de France", 1455—1457 гг.
Публичная библиотека, Ленинград

Кавказский цензурный комитет запретил помещение в «Полном собрании песен Беранже» (Тифлис, 1892), издававшемся И. Ф. Тхоржевским отдельными выпусками, стихотворений: «Моя республика» («в стихотворении «Моя республика» проводятся, хотя и в свойственной всем произведениям Беранже шутливой форме, крайне радикальные идеи»), «Пьяница и его жена» («за циничное описание поведения неверной жены») и 4-й куплет «Старого скрипача» («в котором автор советует не хулить атеистов и говорит, что людям следует собираться вместе не для молитвы, а для веселья»).

Сообщая об этом в Главное управление по делам печати, в связи с жалобой Тхоржевского на несправедливость сделанных исключений, Кавказский комитет писал: «При запрещении к напечатанию упомянутых песен комитет считал необходимым отнестись с особенною осторожностью при рассмотрении «Полного собрания песен Беранже», издаваемого Иваном Тхоржевским, ввиду того, что собрание это выходит небольшими выпусками, которые по своей дешевизне (20 к. каждый) вполне доступны громадному кругу читателей и легко могут распространиться среди подрастающего поколения, в особенности среди учащейся молодежи. При таких условиях некоторые стихотворения, которые могли быть допущены при прежних изданиях, являются, по мнению комитета, крайне неудобными и нежелательными в таком общедоступном издании, как настоящий сборник г. Тхоржевского». Главное управление утвердило это запрещение Кавказского комитета[23].

Одновременно с популярностью Беранже и параллельно ей росла и крепла известность в России О. Барбье, выдвинувшегося в качестве одного из поэтов Июльской революции. «Поэтом революции» называет его и первый цензурный отзыв цензора Л. Роде о книге «Iambes» (Bruxelles, 1832). «Г-н Барбье,—писал цензор,—молодой поэт, выдвинувшийся в несчастные июльские дни 1830 г., занимается тем, что в стихах своих критикует и бичует сатирою, полною желчи, чуть ли не крови, свое время, своих соотечественников и, в особенности, столицу своей родины [т. е. французскую буржуазию и буржуазный Париж и их роль во время июльского переворота.—*И. А.*]. Он не пытается прикрыть их недостатки, но, наоборот, изображает их во всей наготе, и его перо рисует картины с такой решительною дерзостью, что издатели вынуждены были снабдить его «Ямбы» предисловием, где стараются защитить автора от обвинения в цинизме»[24]. Комитет запретил книгу для публики. Как справедливо указывает М. П. Алексеев, одним из мотивов запрещения, не приведенным в докладе цензора, могло послужить то обстоятельство, что в сборнике Барбье была мрачная поэма, направленная против Николая I и его политики в польском вопросе [25].

Однако, несмотря на запрещение, стихи Барбье всё же проникали в Россию: два сборника («Iambes» и «Il pianto»), например, имелись в библиотеке А. С. Пушкина[26]; в журналах появлялись упоминания о нем с весьма высокой оценкой его творчества. К несколько более позднему времени относится знакомство с Барбье М. Ю. Лермонтова[27], петрашевцев—Ф. М. и М. М. Достоевских[28], С. Ф. Дурова[29], А. П. Милюкова, А. Н. Плещеева[30]. В пятидесятые-шестидесятые годы Барбье принадлежал к любимейшим поэтам демократического лагеря русской поэзии: его стихотворения в громадном количестве переводят «искровцы» (В. Курочкин, Д. Минаев, П. Вейнберг, молодой В. Буренин), некоторые из этих переводов, минуя цензуру, попадают в русскую зарубежную печать, печатаются в «Русской потаенной литературе XIX столетия» Огарева, «Подпольном слове» Элпидина, «Народной расправе» Ткачева и др. и во множестве распространяются в списках[31].

Соответственно росту в России популярности Барбье, чьи произведения сыграли немалую роль в развитии гражданских мотивов русской лирики, росла и цензорская активность по отношению к «поэту революции». Так, в 1840 г. была запрещена книга Барбье «Nouvelles satires» (Paris, 1840), содержавшая две сатиры—«Pot-de-vin» и «Erostrate». В данном случае, внимание цензора В. Соца остановила особенно первая

сатира, о которой он писал: «В первой сатире политического содержания представительницы Италии, Польши и Испании, претерпевая бедствия, последовавшие за революционным стремлением трех народов к свободе, и обвиняя первая—Австрию, вторая—Россию в мнимых несправедливостях, обращаются к сестре их, Франции, с просьбою о защите и вспомоществовании; но По-де-Вень, жених Франции, старается удержать ее от того, под разными предлогами. Многие предосудительные и оскорбительные для России места, встречающиеся, например, на страницах 14, 16, 19, 25, 61, 98, 113, и разные акты революционного польского правительства и Парижского комитета, помещенные на 205 и 225 страницах, требуют запрещения этой сатиры, а вместе и целой книги, ибо вторая сатира, хотя и позволительного содержания, но, занимая собою небольшое число страниц, не может быть выпущена в настоящем виде отдельно от первой»[32].

Несколько благосклоннее отнеслась цензура к другому сборнику—«Rimes héroïques» (Paris, 1843), дозволенному с исключением ряда мест, из которых некоторые были указаны в отзыве цензора. Последний (Г. Нагель) в своем докладе комитету писал следующее:

«Под заглавием «Rimes héroïques» г. Барбье дает читателю сборник сонетов, сюжеты которых были ему внушены или волнением, вызванным благоговейным воспоминанием, или каким-нибудь высоким проявлением добродетели и патриотизма. Автор, сгруппировав в хронологическом порядке эту галлерею своих поэтических воспоминаний, в предисловии заявляет: «Не всегда воспевал я людей наиболее блестящих и пользовавшихся наибольшим успехом, но чаще тех несчастных, которые склонны ко всему доброму и наиболее симпатичны моим взглядам и чувствам».

Просматривая этот сборник сонетов, мы нашли там несколько таких, которые, по нашему мнению, должны быть исключены при допущении книги к свободному обращению. Выдержки из этих сонетов, заслуживающие порицания, я считаю необходимым процитировать.

Стр. 98 в сонете под заглавием «Le jeune Barras»:

L'ange du peuple alors passait devant ses yeux,
Il le vit et criant: Vive la république!
Il tomba sous les coups des chouans furieux.
(Ангел народа тогда представился его глазам,
Он его увидел и с криком: Да здравствует республика!
Пал под ударами озверевших шуанов).

Стр. 102:

De même, o Lafayette! honneur de la cité,
Ton âme blanche au sein du plus sombre des âges
Traversa le pouvoir, le sang et les outrages,
Sans qu'une tâche vint souiller sa pureté.
(Также, о Лафайет! слава нашего города,
Твоя чистая душа во время самой мрачной эпохи
Прошла через власть, кровь и оскорбления,
И ни одно пятно не смогло замарать ее белизны).

Стр. 110. Подлежит исключению весь сонет под заглавием «Kosciusko», из которого мы цитируем здесь последние шесть стихов:

Ainsi de ta patrie, ô guerrier magnanime!
Ainsi de ta Pologne, innocente victime
Toujours comme Jésus trainée au Golgotha:
Son front échevelé qui gît dans la poussière
A beau nous sembler morne et froid comme la pierre,

Dieu lui garde la vie et la relevera.
(Так и с твоей родиной, о великодушный воин!
Так и с твоей Польшей, невинной жертвой,
Которую, как Христа, влачили на Голгофу:
Пусть ее чело с растрепанными волосами, лежащее в прахе,
Нам кажется безжизненным и холодным, как камень,
Но бог хранит ее живой и воскресит ее).

Стр. 129. Подлежит исключению весь сонет под заглавием «Les morts de Juillet», из которого мы цитируем первые четыре стиха:

Recevez, recevez l'hommage de ma voix
Morts sacrés des trois jours, victime du parjure,
Enfants du grand Paris qui pour venger l'injure
Avez rougi de sang le boucliers des lois!..
(Примите, примите привет моего голоса,
Священные падшие этих трех дней, жертвы клятвопреступника,
Сыны великого Парижа, который, чтобы отмстить за оскорбление,
Окрасил кровью щит законов»).

Стр. 134. В сонете, озаглавленном «Christ», автор ставит спасителя в ряду героев, которых он прославляет в своей книге,—вот строфа из этого сонета:

O Jésus! quelque soit le hardi jugement
Que l'humaine raison porte sur ta nature
Je finirai par toi: je veux que ta figure
De mes nobles héros soit le couronnement!
(О Иисус! каково бы ни было смелое суждение
Человеческого разума о твоей природе,
Я кончу тобою: я хочу, чтобы твой образ
Был венцом изображенных мною благородных героев!)

В конце тома имеются пояснительные примечания в прозе; надлежит удалить те из них, на стр. 204, 205—207, которые касаются вышеупомянутых сонетов»[33].

Русские переводы из Барбье в течение 30—40-х годов не привлекали особенного внимания цензуры. Объяснение этому следует искать отнюдь не в непонимании ею бунтарско-протестантского характера «ямбов» и сатир французского поэта (приведенные выше отзывы о французских изданиях свидетельствуют об обратном), но в том, что в печать в эти годы попадали переводы наименее острых произведений, иногда, к тому же, приспособленные применительно к российским обстоятельствам; значительная же часть русских переводов, как сказано выше, распространялась в рукописях либо в зарубежных изданиях. Когда же в 50—60-х годах, в связи с наметившимся ослаблением гнета предреформенной цензуры, переводчики попытались сделать доступной и эту запретную прежде часть творческого наследия Барбье, им тотчас же пришлось столкнуться с весьма категорическими оценками и запрещениями.

Так, например, в 1862 г. был запрещен анонимный перевод стихотворения Барбье «Жертвы» («Les Victimes»), в котором поэт изображал сонм «замученных под тяжестью оков страдальцев, гордых пыткой и позором, святых, ораторов, поэтов, мудрецов». Возможно, в данном случае одним из мотивов запрещения «Жертв» было опасение, что скорбные строфы Барбье могли бы вызвать у русского читателя нежелательные параллели с отечественными административными репрессиями 1861—1862 гг. и, по аналогии, быть отнесенными к жертвам этих репрессий, в том числе и к Н. Г. Чернышевскому[34]. В 1865 г. напечатание нескольких «ямбов» в переводе К. И. Бабикова («Пролог», «Лев», «Жертвы» и др.)[35] вызвало замечание цензуры, что стихотворения Барбье

имеют «мрачный революционно-демократический характер». Отметим, что и на этот раз особенно подозрительными показались цензору «Жертвы», впрочем, с оговоркой, что смысл стихотворения «довольно неясен»[36].

В 1868 г., в связи с помещением ряда переводов В. П. Буренина в «Современном Обозрении» (1868, июнь), цензура, связав их с «юбилеем» революции 1848 г., усмотрела в них оскорбление авторитета монархической власти, признала в них произведения, имеющие целью «возбуждение революционных страстей вообще, яркою картиною торжества удавшегося народного бунта над законною властью»[37].

В том же 1868 г. Главное управление по делам печати особое внимание обратило на перевод В. П. Буренина «Собачий пир» («Вестник Европы», 1868, № 11, стр. 286—289). Как вспоминал позднее сам Буренин, переводы эти «провел» в цензуре М. М. Стасюлевич, имевший большие связи в цензурных кругах. При этом, однако, осторожный либерал Стасюлевич попытался предварительно осуществить свою внутреннюю, «дружескую» цензуру, максимально облагообразив перевод, исключив из него всё, что в какой бы то ни было степени могло вызвать недовольство цензурных органов. До нас не дошли, к сожалению, замечания Стасюлевича на этот перевод и его советы переводчику, но достаточно полное представление о них дает ответное письмо В. П. Буренина. «Относительно ваших замечаний на три стиха,—писал он к Стасюлевичу 12 октября 1868 г.,—я и согласен и не согласен с вами. «Святую сволочь», по-моему, следует оставить, потому что в подлиннике именно значится «sainte canaille». Выражение это по-русски не совсем ловко звучит, но оно характерно, оно рисует манеру Барбье, и потому с ним, по-моему, следует помириться. Что касается до «салонной» сволочи, то ваше замечание вполне справедливо, что одно и то же слово в двух значениях неуместно. В подлиннике стоит не сволочь, а «courreurs de salon». Буквально этого выражения перевести нельзя. Вот как, по-моему, можно переменить стих с этой фразой и последующие за ним:

Салонных шаркунов (хотите—пожалуй, п р и х в о с т н е й) он
сделался притоном:
К пустым чинам и почестям жадна,
Толпа их бегает из двери в дверь с поклоном,
Чтоб выпросить обрывок галуна.

Вот насчет с у к и я с вами расхожусь. Разумеется, и речи не может быть о том, что я для вас готов и уступить и заменить с а м к о й. Но сделать подобную уступку мне было бы совестно. И признаюсь вам, что меня с у к а нисколько не шокирует, и с а м к а мне кажется менее уместной в стихе. Надо привыкнуть к цинизму Барбье, чтоб подобными выражениями не смущаться. У меня везде почти цинизм его смягчен. Он, например, выражается так: свобода поставила весь народ на т е ч к у или подставляет свой живот для любви и т. п. Как видите, такому поэту всякое слово впору, как бы вульгарно оно ни звучало, лишь бы выражало резко мысль. Впрочем, повторяю, я вовсе не стою за непременное удержание с у к и и только заявляю причины, по которым я не убоялся употребить это слово в стихе»[38].

Однако, несмотря на старания Стасюлевича и уступчивость Буренина, Главное управление по делам печати всё же нашло, что стихотворение это «посвящено идеализированию французской уличной революции 1830 г. в самой цинической форме». «Совет Главного управления по делам печати, рассмотрев означенное стихотворение, находил, что если таковое могло печататься безнаказанно во Франции и в других государствах, в которых существующие правительства основаны на успехе недавних революций, то в России появление в печати такого страстного описания уличной революции более чем неуместно, особенно в столь серьезном и бывшем доселе безукоризненным журнале, как «Вестник Европы», а потому совет полагал: предупредить редак-

тора о возможности неблагоприятных для его журнала последствий, в случае помещения в его издании статей, подобных вышеприведенному стихотворению Барбье»[39].

Впрочем, политическая актуальность и заостренность поэзии Барбье постепенно сглаживались как на Западе, так и у нас, хотя популярность его среди русских читателей-демократов держалась всё же вплоть до конца семидесятых годов. В 1871 г. из сборника «Œuvres comprenant les Iambes, Il pianto, Lazare etc.» (Bruxelles, 1853) подверглось исключению лишь стихотворение «Varsovie», как непосредственно задевавшее русское правительство[40]. В 1897 же году, как указывалось, произведения Барбье были целиком допущены в Россию: его творчество было признано исключительно достоянием истории.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Revue de Paris» от 15 августа 1830 г. О взглядах Николая I на Июльскую революцию см. Т. Богданович, Французская эмиграция, вопрос об интервенции, империя, польская революция в свидетельствах русского вельможи («Анналы», т. IV, Л. 1924, стр. 131—135, 136—137), ср. также Б. В. Томашевский, Французские дела 1830—1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово («Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово 1827—1832», Л. 1927, стр. 301—361).

[2] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. I, СПб. 1905, стр. 202.

[3] А. И. Дельвиг, Мои воспоминания, т. I, М. 1912, стр. 107.

[4] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. I, СПб. 1905, стр. 202.

[5] П. В. Анненков, Пушкин в Александровскую эпоху, СПб. 1874, стр. 18. Заметим кстати, что два издания Беранже — «Chansons» (8e édition, Bruxelles, 1824) и «Chansons nouvelles» (Paris, 1825) были запрещены цензурой еще в 1825 г.; мотивировки этого запрещения, однако, не сохранилось.

[6] Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, М. 1931, стр. 243.

[7] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1831 г.

[8] Там же, рапорты за 1833 г., № 712.

[9] Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского, т. I, М. 1934, стр. 462 («Современник», 1858, кн. XII, стр. 209—225).

[10] Белинский, Письма, т. II, СПб. 1914, стр. 250.

[11] П. Сакулин, Русская литература и социализм, ч. I, М. 1924, стр. 313, 356, 364.

[12] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. VIII, СПб. 1894, стр. 38, 41; также «А. А. Григорьев, Материалы для биографии», под ред. В. Н. Княжнина, Пгр. 1917, стр. 104. Сжатый, но очень содержательный свод материалов о популярности Беранже в России сделан И. Г. Ямпольским (см. «Поэты «Искры», Л. 1933, стр. 33—34; Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. I, М. 1934, стр. 653—655).

[13] «Литература в это время,—писал С. В. Максимов,—заручилась уже «Губернскими очерками». Песни Беранже в прелестных переводах и счастливых переделках В. С. Курочкина входили во вкус и сильно увлекали» («Сочинения П. И. Якушкина», СПб. 1884, стр. 1).

[14] Т. Г. Шевченко, Дневник, М.—Л. 1931, стр. 69, 275 и др.

[15] Н. А. Добролюбов, цит. изд., т. I, стр. 464.

[16] Главн. управл. цензуры 1858 г., д. № 48, лл. 38—39. Французское издание «Моей биографии», разбор которой вошел в состав помещенной в «Московских Ведомостях» статьи, было беспрепятственно пропущено цензурой в 1858 г. («Ma biographie, ouvrage posthume», Paris, 1857). При рассмотрении перевода ее на русский язык в 1860 г. Московский цензурный комитет, в связи с приведенным предложением министра народного просвещения, не решился одобрить этого перевода собственной властью и представил его на рассмотрение Главного управления цензуры. После исключения из рукописи перевода нескольких мест он был разрешен к печати (Главное управление цензуры, 1860 г., д. № 345).

[17] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1860 г., № 1020. В 70-х и 80-х годах из всех сборников Беранже обыкновенно исключались четыре песни: «Les deux sœurs de charité», «Le bon dieu», «Conseil aux Belges» и «Prédiction de Nostradamus»—«ввиду их антирелигиозного и антимонархического содержания» (см. СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1872 г., № 1941; 1874 г., № 2286; 1877 г., № 3251; 1882 г., № 382).

[18] СПб. ценз. к-т, журналы заседаний за 1863 г., 12 октября; ср. «Поэты «Искры», стр. 621; там же, стр. 57—58, стихотворение напечатано полностью, с восстановлением исключенных цензурой строк.

[19] СПб. ценз. к-т, журналы заседаний за 1886 г., 19 октября.

[20] В. Евгеньев-Максимов, И. А. Гончаров, как член совета Главного управления по делам печати («Голос Минувшего», 1916, № 12, стр. 174).

[21] Ср., например, статью Т. Талычевой, Беранже и его переводчик («Отечеств. Записки», 1862, № 9), автор которой обвиняет Курочкина в преднамеренном искажении Беранже, в замене простоты и наивности оригинала «тривиальностью выражений» и т. д. К 1863 г. относится эпиграмма Н. Ф. Щербины на Курочкина (Н. Щербина, Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания И. Айзенштока, Л. 1937, стр. 203, 280):

Тупоумным для забавы
Балаганно он острил
И на щукинские нравы
Беранже переложил.

[22] Главн. управл. по делам печати, журнал заседаний совета за 1866 г., № 101, п. 1.

[23] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1892 г., д. № 23, лл. 61—62.

[24] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1832 г., № 512. Подлинник по-французски.

[25] О. Барбье, Ямбы и поэмы. Редакция, вступительная статья и примечания М. П. Алексеева. Одесса, 1922, стр. XXVI; во вступительной статье М. П. Алексеева собран обширный материал относительно известности Барбье в России.

[26] Б. Л. Модзалевский, Библиотека Пушкина, СПб. 1910, стр. 149.

[27] «Русск. Обозрение», 1890, № 8, стр. 749; ср. А. Милюков, Очерки истории русской поэзии, 3-е изд., СПб. 1864, стр. 223, где отмечены следы влияния «Ямбов» Барбье на Лермонтова; также С. В. Шувалов, Влияние на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии («Венок М. Ю. Лермонтову», М. 1914, стр. 337—338).

[28] Ф. М. Достоевский, Письма, т. I, Л. 1928, стр. 55; ср. Достоевский, Сочинения, изд. «Просвещение», т. IX, стр. 103.

[29] А. П. Милюков, Литературные встречи и знакомства, СПб. 1890, стр. 184.

[30] См. в упомянутой статье М. П. Алексеева, стр. XXIX—XXXI.

[31] Один из таких списков попал в 1857 г. в руки Шевченко, который списал «Собачий пир» («La curée»), в переводе В. Г. Бенедиктова, в свой дневник (Т. Г. Шевченко, Дневник, М.—Л. 1931, стр. 173—177, 277).

[32] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1840 г., № 824. Подобный же мотив—наличие «непочтительных и укоризненных выражений для русского правительства»—послужил много лет спустя причиной исключения отдельных мест из книги Барбье «Tablettes d'Umbrano suivies de promenades au Louvre» (Paris, 1884) (там же, рапорты за 1884 г., № 4725).

[33] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1843 г., № 1062. Подлинник по-французски. Как это, так и остальные заграничные издания сочинений Барбье, подвергавшиеся запрещениям полностью или с исключением отдельных мест, были разрешены иностранной цензурой в 1897 г. (там же, рапорты №№ 7982—7985). Впрочем, «Iambes» были допущены еще в 1862 г. (см. «Книжный Вестник», 1864, № 21, стр. 430).

[34] Запрещенный текст перевода вошел в официальное издание, не подлежавшее распространению: «Сборник статей не дозволенных цензурою в 1862 г. Напечатан по распоряжению Главн. Управл. Мин. Нар. Просв. для комиссии по делам книгопечатания», СПб. 1862, т. II, стр. 145. Несмотря на запрещение «Les Victimes», это стихотворение в других переводах было в 1862—1863 гг. дважды напечатано: в «Библиотеке для Чтения», 1862, № 6, стр. 98 (перевод Ф. Берга) и в «Современнике», 1863, № 5, стр. 810—811 (пер. В. Буренина).

[35] «Отечественные Записки», 1865, октябрь, кн. II. Переводы эти вызвали, кстати сказать, пародию В. Курочкина: «К ямбам Барбье в переводе „Отечественных Записок"» («Искра», 1865, № 41, стр. 549—551, перепечатана в сборнике «Поэты «Искры» стр. 180—181).

[36] СПб. ценз. к-т, 1865 г., д. № 60, л. 7.

[37] Главн. управл. по делам печати, журналы заседаний совета за 1868 г., № 46, п. 7.

[38] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. II, СПб. 1912, стр. 541—542.

[39] СПб. ценз. к-т, 1865 г., д. № 102, л. 11.

[40] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1871 г., № 3541.

IV. ЖОРЖ САНД

Немного найдется представителей мировой литературы, которые оказали бы столь мощное и длительное воздействие на русскую литературу, на формирование общественной мысли в России, как Жорж Санд. Ее известность, ее слава были не только известностью и славой большого литературного имени, крупного, выдающегося писателя-художника: в течение нескольких десятилетий Жорж Санд являлась для русского читателя примером и образцом борца за раскрепощение женщины, за «новое человечество». В тридцатые-сороковые же годы имя Жорж Санд олицетворяло всю французскую литературу, в ее лучших передовых представителях. Когда К. Д. Кавелин в своих «Воспоминаниях о Белинском» говорил, что «Жорж Занд и французская литература были нашим евангелием», когда М. Е. Салтыков-Щедрин писал, что «из Франции, разумеется, не из Франции Луи Филиппа и Гизо, а из Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и *в особенности* Жорж Занда, лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век не позади, а впереди нас»,—они лишь в слабой степени воссоздавали ту атмосферу культа Жорж Санд, преклонения перед нею и ее героями, какое существовало в то время.

В настоящем очерке мы, естественно, не имеем возможности с достаточной подробностью останавливаться на истории усвоения Жорж Санд на русской почве, говорить о ее влиянии на русское общество и русскую литературу[1], однако, некоторые справки существенно необходимы для правильной оценки публикуемых ниже документов.

Широкая известность Жорж Санд в России начинается с 1833 г., когда появился первый перевод ее романа «Индиана» (СПб. 1833)[2], который вызвал совершенно необычный для того времени взрыв страстных восторгов и яростных нападок. Только-что возникшая в 1834 г. «Библиотека для Чтения» поднимает подлинный крестовый поход против французских романов вообще и, в особенности, против Жорж Санд. Из номера в номер «проповеди» Жорж Санд в «Индиане», «Валентине» и «Лелии» называются «безнравственными»; ее повесть «Жак»—«страшное происшествие для ума и нравственности»; вообще ее «статьи» «могли б удивлять читателя страстною своею диалектикою, если б не заставляли сожалеть о ней и даже о народе, в котором узы, самые священные и необходимые для человеческого счастья, так гибельно начинают расторгаться». Как лучшее средство для предотвращения зла, пускается в ход сатира, в роде статьи Ф. Булгарина «Петербургская чухонская кухарка, или женщина на всех правах мужчины. La femme émancipée des st. simoniens. Эпилог к философическим глупостям XIX века»[3]. В какой-то мере эти нападки, очевидно, имели свой общественный резонанс, подчас совершенно неожиданный: среди хулителей Жорж Санд оказывалась сама русская императрица, жена Николая I, высказывавшая свое «авторитетное» мнение, что нельзя любить медика. «Fût-il beau comme Adonis,—поучала она своих приближенных,—un homme qui vous proscrit des purgatives et qu'on paye dix francs la visite!». И этому взгляду вторили приближенные, жалуясь на то, что «русские барыни, начитавшись госпожи Занд, усвоили ее взгляд и таскаются по Европе с курьерами из итальянцев без зазрения совести»[4].

Конечно, не яростная ругань Сенковского и Булгарина, не возмущение двора характеризуют популярность Жорж Санд: они лишь оттеняют, подчеркивают тот массовый восторг, то общее восхищение, которое возобновлялось, возрастало с каждым новым романом французской писательницы. «О Жорж Занде тогда говорили беспрестанно, по мере появления ее книг,—вспоминал впоследствии И. А. Гончаров,—*читали, переводили ее; некоторые женщины даже буквально примеряли на себе ее* эмансипаторские заповеди, поставив себя в положение тех или других ее героинь, чего, конечно, без нее им бы и в голову не пришло, или пришло бы, как всегда, просто, без участия головы»[5].

Но наряду с таким чисто внешним преклонением, сопровождающим всякий крупный успех, шло и более глубокое, хотя не менее восторженное, усвоение художественной стороны романов Жорж Санд и социально-философского, идейного их содержания. Страстным пропагандистом французской писательницы выступает Белинский, впрочем, далеко не сразу оценивший ее[6]; для Белинского сороковых годов Жорж Санд—«решительно Иоанна д'Арк нашего времени, звезда спасения и пророчица великого будущего»[7], она—лучшая представительница французской литературы: «кроме G. Sand, право, некого у них [у французов] теперь читать»,—пишет он В. Боткину[8]. То же находим и в печатных статьях Белинского того времени. «Это, бесспорно, первая поэтическая слава современного мира,—пишет он о Жорж Санд в одном месте.—Каковы бы ни были ее начала, с ними можно не соглашаться, их можно не разделять, их можно находить ложными; но ее самой нельзя не уважать, как человека, для которого убеждение есть верование души и сердца. Оттого многие из ее произведений глубоко западают в душу и никогда не изглаживаются из ума и памяти. Оттого талант ее не слабеет ни в силе, ни в деятельности, но крепнет и растет»[9].

Необходимо при этом учитывать, что произведения Жорж Санд для Белинского имели не только художественную ценность: ее романы служили источником знакомства с теорией и практикой французского утопического социализма в отдельных его представителях (в особенности с учением Пьера Леру)[10]. И если сам Белинский в последние годы жизни охладел к Жорж Санд, то увлечение его, как бы по наследству, передалось всей последующей линии демократической мысли, чрезвычайно ярко и показательно проявившись, например, в творчестве Н. Г. Чернышевского. Как замечает исследователь, «Чернышевскому Ж. Санд была близка, как писательница, поставившая в своем творчестве вопросы о переустройстве общества в направлении к социалистическому идеалу... Пусть во многом Ж. Санд оставалась в кругу романтической традиции, но первые выходы литературы к новым проблемам социального порядка именно романами Ж. Санд осуществлены были с наибольшей яркостью, остротой и художественным совершенством»[11]. А. Скафтымов, которому принадлежит эта цитата, приводит обширный и убедительный материал, демонстрирующий не только читательское увлечение Чернышевского романами французской писательницы, но и попытки его на деле, в личной своей жизни применить проповедуемые ею идеи. Роман Жорж Санд «Жак» он считал даже, в конце сороковых и начале пятидесятых годов, программой и образцом своего собственного поведения; находясь в заключении в Петропавловской крепости (1864 г.), Чернышевский перечитывал «Графиню Рудольштадскую». Целая галлерея героев и героинь Жорж Санд мелькает в «Что делать?», создавая своеобразную литературную канву поступков героев Чернышевского. А. Скафтымов даже полагает, что и «сюжетная концепция романа „Что делать?" имеет очень большое сходство с романом „Жак"».

Чернышевский в своем увлечении Жорж Санд отнюдь не был одинок; имя французской писательницы в начале шестидесятых годов звучало не менее громко и торжественно, чем в начале сороковых, соединяясь в представлении читателей с широко развертывавшейся борьбой за женскую эмансипацию. «Имя Жорж Санд,—свидетельствует историк,—было в России очень популярно, и она-то главным образом заставляла наших читателей и, прежде всего, читательниц задумываться над судьбой и над призванием женщины в мире»[12]. И популярность эту весьма убедительно подчеркивает и утверждает оживленная журнальная полемика, разгоревшаяся по поводу статьи известного славянофила Т. И. Филиппова о драме Островского «Не так живи, как хочется», в которой критик писал о Жорж Санд: «С именем этой женщины связано столько зла, что говорить об ее достоинствах приходится с большой осторожностью... Злоупотребления были для Занда только предлогом к борьбе и снабжали ее живыми возражениями; истинное же, внутреннее ее побуждение было иное: не-

ЛЕЛИЯ

Картина маслом Г. Курбе на сюжет романа Жорж Санд, 1841 г.

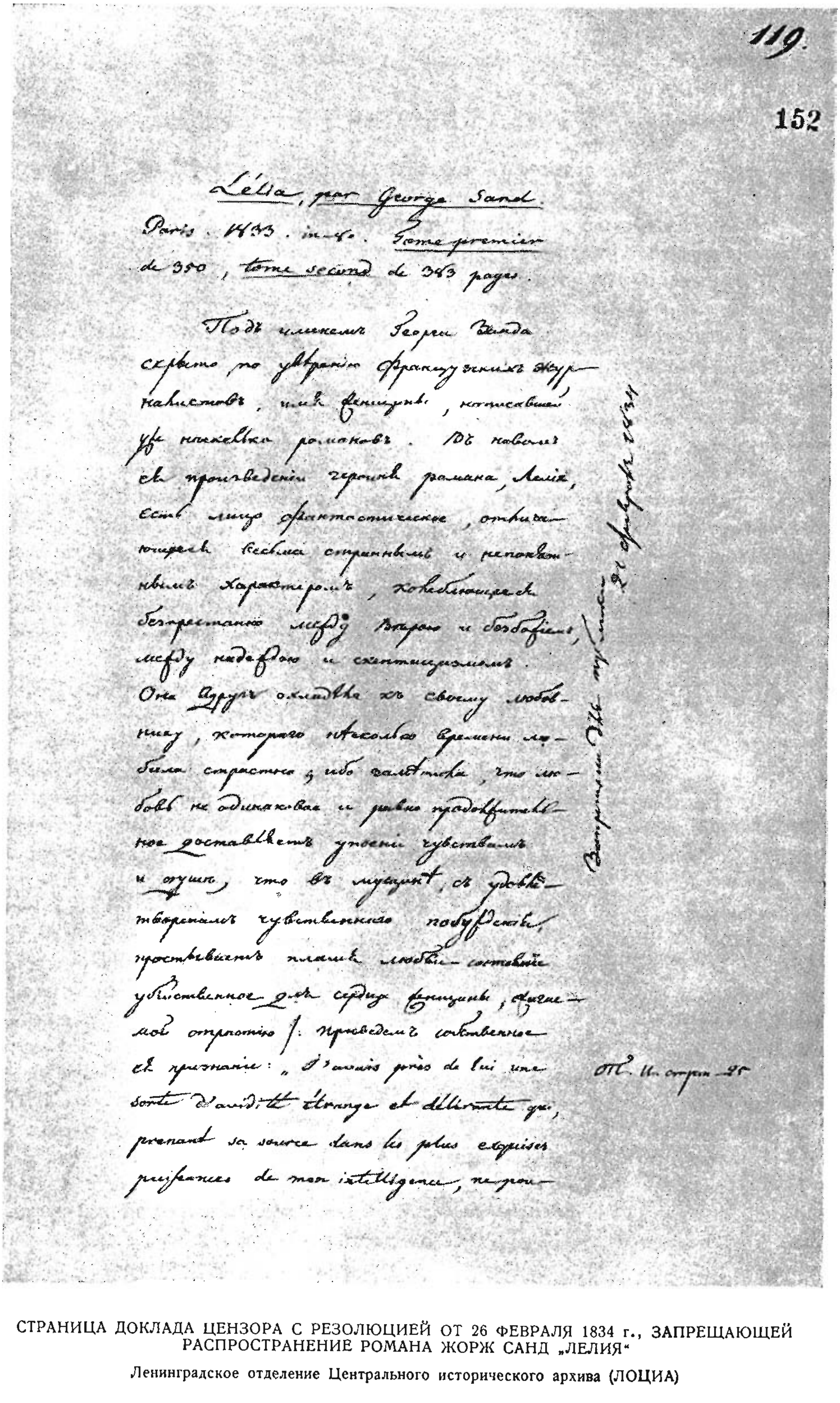
Музей изобразительных искусств Армении, Ереван

насытимая страстность ее природы, влечениям которой она предаться не хотела, не узаконив их, вывела ее из здравого понятия о правах личной любви, которое предлагается уставом христианского брака. Обстоятельства, естественно ограничивающие произвол наших личных ощущений, показались ей насильственными и не содержащими в себе неприкосновенной правды: она их переступила и свое преступление задумала возвести на степень общего закона»[13]. Сами по себе, эти обвинения по адресу Жорж Санд были не новы: обвинения писательницы в личном разврате, следствием которого являются, якобы, и ее романы, высказывались и до того много раз ее противниками и недоброжелателями[14]. Интересно то, что выступление Т. Филиппова вызвало сильный общественный резонанс, что на защиту Жорж Санд выступил широкий фронт русской журналистики—от «Современника» до «Русского Вестника», и даже со стороны своих единомышленников Филиппов получил упрек в том, что переусердствовал, неосторожно и нетактично коснувшись «вопроса нравственного, вопроса живого, крайне щекотливого, можно сказать, задорного—женской эманципации и ее проповедников, а в особенности великой проповедницы Жорж Занд»[15].

Позже, к концу шестидесятых годов, слава Жорж Санд начала блекнуть,—общественное и, в частности, женское движение вступило в новую фазу своего развития; но и тогда сохранилась популярность Жорж Санд, как талантливой романистки, как большой, подлинно большой писательницы. «Когда, лет восемь тому назад,—писал И. С. Тургенев после ее смерти А. С. Суворину,—я впервые сблизился с Жорж Занд, восторженное удивление, которое она некогда возбудила во мне, давно исчезло, я уже не поклонялся ей[16]; но невозможно было вступить в круг ее частной жизни—и не сделаться ее поклонником, в другом, быть может, лучшем смысле. Всякий тотчас чувствовал, что находился в присутствии бесконечно-щедрой, благоволящей натуры, в которой всё эгоистическое давно и дотла было выжжено неугасимым пламенем поэтического энтузиазма, веры в идеал; которой всё человеческое было доступно и дорого, от которой так и веяло помощью, участием... И надо всем этим какой-то бессознательный ореол, что-то высокое, свободное, героическое... Поверьте мне: Жорж Занд—одна из наших святых; вы, конечно, поймете, что я хочу сказать этим словом»[17]. Этот «бессознательный ореол», это нечто «высокое, свободное, героическое» привлекало к Жорж Санд русских читателей вплоть до наших дней...

В истории популярности Жорж Санд в России—истории, еще не написанной, но, тем не менее, достаточно известной со стороны своего фактического содержания, до сих пор оказывалось темным местом отношение к ее творчеству правительственных органов и, в частности, цензуры. В самом деле, a priori можно было предполагать, что цензурные органы не могли не реагировать на огромную популярность Жорж Санд в России, на увлечение русского читателя именно социальной проблематикой ее романов. Между тем, почти никаких фактов цензурных репрессий и запрещений каких-либо романов Жорж Санд в литературе до сих пор не отмечалось. Наоборот, было известно, что русские переводы романов Жорж Санд печатались систематически вслед за появлением их во французском оригинале. Едва ли не единственным указанием на существование каких-то цензурных репрессий, направленных (правда, косвенным образом) против Жорж Санд, являлось до настоящего времени письмо Н. А. Некрасова к В. Г. Белинскому от 24 июня 1847 г., где сообщалось: «В прошлом месяце мы бросили перевод и набор «Манон Леско» и «Леоне-Леони», а в нынешнем не будем продолжать «Пиччинино». Это всё потому, что это романы французские, а к французским романам по обстоятельствам, независящим от редакции, мы с Панаевым почувствовали сильное нерасположение»[18]. Однако, и здесь Жорж Санд оказывалась пострадавшей от общего гонения на французскую литературу.

Лишь непосредственное обращение к цензурным материалам обнаруживает систематическое, на протяжении двадцати лет, запрещение цензурой романов Жорж Санд


119.

152

Lélia, par George Sand.
Paris. 1833. in-8°. Tome premier de 350, tome second de 383 pages.

Подъ именемъ Георга Занда скрыто, по увѣренію французскихъ журналистовъ, имя женщины, написавшей уже нѣсколько романовъ. Въ новомъ ея произведеніи героиня романа, Лелія, есть лицо фантастическое, отличающееся весьма страннымъ и непонятнымъ характеромъ, колеблющаяся безпрестанно между вѣрою и безбожіемъ, между надеждою и скептицизмомъ. Она вдругъ охладѣла къ своему любовнику, котораго нѣсколько времени любила страстно, ибо замѣтила, что любовь не одинаковое и равно продолжительное доставляетъ упоеніе чувствамъ и душѣ, что въ мужчинѣ, съ удовлетвореніемъ чувственнаго побужденія, простываетъ пламень любви — состояніе убійственное для сердца женщины, [illegible] (приводимъ собственное ея признаніе: „J'avais près de lui une sorte d'avidité étrange et délirante qui, prenant sa source dans les plus exquises puissances de mon intelligence, ne pou-

Т. II. стран. 25

Запрещено 26 февраля 1834

СТРАНИЦА ДОКЛАДА ЦЕНЗОРА С РЕЗОЛЮЦИЕЙ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1834 г., ЗАПРЕЩАЮЩЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОМАНА ЖОРЖ САНД „ЛЕЛИЯ“

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

в подлинниках. Этому обстоятельству не противоречит то, что все эти романы одновременно дозволялись в русских переводах, соответствующим образом, конечно, сокращенных и обработанных. Таким путем цензура боролась с «проникновением зажигательных теорий», и путь этот, к слову сказать, применялся даже значительно позже: в 1885 г., например, его предлагал К. П. Победоносцев для Золя[19]. Недаром более внимательные и вдумчивые читатели Жорж Санд стремились к знакомству с ее романами именно в подлинниках. Белинский писал, например, Н. А. Бакунину (7 ноября 1842 г.): «Читали вы «Ораса» Жорж Занд? Если вы читали его в «Отечественных Записках», по-русски только, жаль»[20].

Внимание цензуры к Жорж Санд было впервые привлечено в 1834 г., когда роман «Lélia» (Paris, vols. I—II) был запрещен, ввиду того, что «содержание романа наполнено метафизическими отвлеченностями и софизмами, направленными против общественных понятий, нравственности и веры»[21]. В 1837 г. цензором Г. Р. Дукшта-Дукшинским был представлен следующий доклад о книге Жорж Санд «Lettres d'un voyageur» (Paris, 1837, vols. I—II): «Недовольный учреждениями общественной жизни, терзаемый сомнениями на счет назначения человека, автор сообщает в письмах путешественника картину собственных чувствований. Находясь в болезненном состоянии души и ища рассеяния в путешествиях, его герой не понимает цели своей жизни, негодует на монархические учреждения и объявляет себя поборником начал республиканских; настоящий порядок вещей и безнадежность будущности приводят его в отчаяние, побуждают к самоубийству, но врожденная робкость и малодушие препятствуют совершению намерения. Эта борьба, мнения о разных нравственных предметах и возражения на критики о прежних сочинениях автора, как-то: Indiana, Valentine, Lélia и других, составляют главное содержание сих двух томов. Мы признаем сие сочинение предосудительным как в нравственном, так и в политическом отношениях»[22].

Два года спустя внимание цензуры было обращено на роман «Spiridion» (Paris, 1839). Цензор В. Соц нашел этот роман «способным производить вредное впечатление, усугубляемое множеством предосудительных мест, противных 1-му пункту § 3 устава о цензуре» (пункт этот предусматривал запрещение произведений, содержащих в себе что-либо клонящееся к поколебанию учения православной церкви, ее преданий и обрядов или вообще истин и догматов христианской веры)[23]. Ряд произведений Жорж Санд подпадал, в той или иной степени, под действие цензурной машины и в следующие годы. В 1841 г. была запрещена книга «Le compagnon du tour de France» (Bruxelles, 1841, vols. I—II), ввиду того, что содержание ее «относится к эпохе тайных обществ, покушавшихся в 1823 г. свергнуть Бурбонов, и что автор признает необходимость и пользу тайных обществ»[24]. Роман Жорж Санд «Horace» (Bruxelles, 1842, vols. I—II) был дозволен, за исключением ряда мест, излагающих религиозные и политические мысли автора[25]; то же произошло с романом «Consuelo» (Bruxelles, 1842—1843, vols. I—III), дозволенном, с исключением нескольких мест, «где явно отвергается принимаемое учением христианской церкви существование олицетворенного зла»[26]. В том же 1843 г. запрещена книга «Jean Ziska (Episode de la guerre des Hussites)» (Bruxelles, 1843), в которой цензор, найдя собственно историческую часть позволительной, отметил «вредность» мыслей автора об учении гусситов[27]. В 1844 г. подвергся запрещению роман «La comtesse de Rudolstadt» (Bruxelles, 1843—1844, vols. I—III), в котором были усмотрены «непозволительные мысли масонов о религиозной и политической свободе», а также «выражения и мысли унизительные для религии и для монархической власти»[28]. В 1846 г. «Le péché de Monsieur Antoine» (Bruxelles, 1846, vols. I—II) дозволено с исключением нескольких страниц (296—300), на которых «разбираются идеи новейших социалистов о преобразованиях общества»[29].

Необходимо при этом иметь в виду, что, как сказано выше, русские переводы всех перечисленных книг были пропущены беспрепятственно либо, во всяком случае, с такими

препятствиями, которые были преодолены путем непосредственных переговоров переводчика или издателя с цензором, без передачи дела на рассмотрение цензурного комитета. Существенно необходимым, в данном случае, было бы произвести сличение текстов пропущенных переводов с запрещенными оригиналами и установить, таким образом, тот облик Жорж Санд, который преподносился русскому читателю и который, конечно, не совпадает с подлинным ее творческим и социально-политическим лицом.

В материалах цензурного ведомства не сохранилось документов, непосредственно относящихся к тому запрещению печатать продолжение «Пиччинино», о котором упоминал Н. А. Некрасов в цитированном выше письме к Белинскому. Однако, некоторые позднейшие намеки на это мы встретим в докладе цензора М. Г. Палеолога о французском издании этого романа (Georges Sand, «Le Piccinino», Bruxelles, 1847, vols. I—III):

«Автор в настоящем романе своем не выражает ничего противного в отношении к религии и нравственности; он погрешает своими политическими мнениями чрезмерно либеральными; везде старается внушить читателям своим дух либеральности и возбудить ненависть народа к высшему сословию, которое он унижает в глазах первого.

Так как сочинение это есть роман, предназначенный для большой массы читателей, то мы полагаем, что оно должно быть подвергнуто запрещению, по духу либеральности и по мнениям автора, вооружающим одно сословие государства против другого».

Приведя ряд примеров, подтверждающих, по его мнению, это положение, цензор заключал, что «это сочинение должно быть подвергнуто запрещению в целости», и при-

МУЗА ЖОРЖ САНД
Работа Ж.-Б. Клезенже. Мрамор
1845 г.

Эрмитаж, Ленинград

бавлял: «Заметим также, что и перевод этого романа на русский язык дозволен быть не может»[30].

Это заключение цензора весьма характерно для начавшейся «эпохи цензурного террора», к которой оно относится. Вспомним, что это было время, когда над цензурой был поставлен еще «негласный» Бутурлинский комитет — «для исследования нынешнего направления русской литературы, преимущественно журналов, и для выработки мер обуздания ее на будущее время», когда, по словам современника, «панический страх овладел умами. Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникали в публику», когда «ужас овладел всеми мыслящими и пишущими»[31]. При таких условиях и самой цензуре приходилось наново пересматривать свои прежние решения и постановления, усиливая репрессии, запрещая наново допущенные было прежде книги и т. д.

К этому времени относится запрещение романов Жорж Санд «Mauprat» и «Indiana», получивших уже до того широкую известность, хорошо знакомых читателям и не вызывавших прежде каких-либо цензурных нареканий. Еще в 1841 г. Белинский рекомендовал «Mauprat», как «одно из лучших созданий Жорж Занда», и, полемизируя со «слепою чернью, дикою и невежественною толпою», которая ославляет «г-жу д'Юдеван», как «писательницу безнравственную», доказывал, что «Жорж Занд есть адвокат женщины, как Шиллер был адвокат человечества»[32].

Тринадцать лет спустя после этих горячих строк на стороне «слепой черни, дикой и невежественной толпы» оказывается и царское правительство в лице своего цензурного ведомства. 15/27 января 1854 г. цензор Ю. И. Гинье представил Варшавскому цензурному комитету пространный доклад о новом издании «Mauprat» (Paris, 1853), доказывая необходимость запрещения для публики этого романа.

«Этот роман,—писал цензор,—пожалуй, один из лучших и интереснейших романов г-жи Санд, только-что переизданный в иллюстрированном и дешевом издании, не может, по моему мнению, быть пропущен. Уже в предисловии на странице первой есть несколько громких, высокопарных фраз против гражданских законов, по мнению г-жи Санд, извращающих и принижающих священное установление брака. Что касается самого романа, действие его в большей своей части происходит во Франции, незадолго до революции 1789 г. С явной целью подчеркнуть мнимую необходимость этой революции, г-жа Санд сначала вводит читателя в феодальный замок Мопра, в котором отец и шесть сыновей, настоящие средневековые бандиты, живут лишь грабежом и вымогательствами. Почти все герои романа преисполнены восхищением к доктринам общественного договора и к пагубным идеям, приведшим к роковой революции 93 года»[33].

Немного позже Варшавским же цензурным комитетом было представлено к безусловному запрещению новое издание романов «Indiana» и «Melchior» вместе с «La reine Mab» (Paris, 1852), также давным-давно известных русскому читателю и в подлиннике и в неоднократных переводах—по докладу того же Ю. И. Гинье (22/10 марта 1851 г.), «а равно по личном удостоверении во вредном направлении этого сочинения, нарушающего основания религии и нравственности». Приводим здесь доклад цензора:

«„Indiana“» открывает собой серию романов г-жи Санд, написанных против установления брака, который в ее глазах является тиранией, в то время как прелюбодеяние есть возвращение к неотъемлемому праву женщин на свободу. Хотя цензура до сих пор допускала этот роман с небольшими купюрами, но он не может быть пропущен в одном из тех дешевых изданий, в каких большей частью выходят самые дурные произведения иностранной литературы. В одном из предисловий к такому иллюстрированному изданию этого романа г-жа Санд сама признает:

«...Я писала «Индиану» с не совсем, правда, ясным, но глубоким и законным сознанием несправедливости и варварства законов, которые еще определяют жизнь женщины в браке, в семье и в обществе». Преисполненная гордости по поводу вызванной ею критики, она восклицает в конце: «Свобода мысли, свобода печати и слова, святые достижения человеческого духа! что значат маленькие страдания и мимолетные заботы, порожденные твоими ошибками и злоупотреблениями, по сравнению с бесконечными благодеяниями, которые ты готовишь миру!».

Обращаю также внимание в предисловии 1833 г. (стр. 2) на место, подчеркнутое красным карандашом, от слов: «посмотрите затем» до слов «для того, кто мог бы ошибиться». Разумеется, собственные слова г-жи Санд—самое лучшее осуждение ее романа, где апология самоубийства стоит рядом с многочисленными софизмами и высокопарными выступлениями против общества и законов, которыми оно управляется. В романе встречаются также безбожные и богохульные места».

Относительно «La reine Mab» цензор замечал, что «там представлена сцена обольщения на корабле во время бури, сцена, в которой имя бога упоминается с тем бóльшим богохульством, что и сам соблазнитель—человек женатый». Для «Melchior» цензор требовал лишь уничтожения некоторых сомнительных мест[34].

Для полноты обзора укажем еще, что в 1856 г. были запрещены томы 19—20 «Histoire de ma vie» (Paris, 1855), ввиду наличия значительного количества «предосудительных мест в политическом, религиозном и нравственном смысле»[35].

На этом можно закончить изложение цензурных мытарств Жорж Санд: общественный подъем после крымской войны и кратковременный «либерализм» царского правительства сделали невозможным дальнейшее преследование давным-давно знакомых и популярных романов писательницы. Самое имя Жорж Санд, как указывалось выше, получило обновленное, более глубокое звучание, символизируя и возглавляя целое общественное движение за женскую эмансипацию; правда, в это же время появляются и отрицатели Жорж Санд, так сказать, слева, из лагеря радикальной демократии[36]. В свете нарастающего массового революционного движения, в свете новых социальных теорий, проникающих из-за границы, романы Жорж Санд оказываются меньшим злом, и в 1863 г. большинство их разрешается безусловно к ввозу и распространению.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В настоящее время подготовляется к печати монография проф. А. И. Белецкого, Жорж Санд в России.

[2] В оригинале ее произведения, конечно, могли быть знакомы отдельным читателям и раньше.

[3] «Библиотека для Чтения», 1834, т. III, Смесь, стр. 129—130; т. VI, Смесь, стр. 75; проза, стр. 88; т. II, Смесь, стр. 83; см. также А. П. Пятковский, Из истории нашего литературного и общественного развития, т. II, СПб. 1888, стр. 231, 214; Н. К. Козмин, Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой, как выразитель литературных направлений современной ему эпохи, СПб. 1903, стр. 470—471.

[4] А. О. Смирнова, Записки, дневник, воспоминания, письма, М. 1929, стр. 264.

[5] И. А. Гончаров, Заметки о личности Белинского, в книге: «Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников». Собрал и комментировал М. К. Клеман. Предисловие и редакция Н. К. Пиксанова, Л. 1929, стр. 324.

[6] Ср., например, его высказывания о Жорж Санд до 1840 г.—Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 126, 147; т. IV, стр. 36, 461—462 и др.

[7] Письмо к Н. А. Бакунину, 7 ноября 1842 г.—Белинский, Письма, т. II, СПб. 1914, стр. 318.

[8] Письмо к В. П. Боткину, декабрь 1847 г.—Белинский, Письма, т. III, СПб. 1914, стр. 325.

[9] Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. VII, СПб. 1904, стр. 305. См. также в другом месте противопоставление Жорж Санд, с ее демократизмом, с ее возвеличением человека, Бальзаку (там же, т. VI, СПб. 1903, стр. 198—199).

[10] В. Л. Комарович, Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского—«Венок Белинскому». Редакция Н. К. Пиксанова, М. 1924, стр. 263 и сл.

[11] См. А. Скафтымов, Чернышевский и Жорж Санд.—«Николай Гаврилович Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи», под общей редакцией проф. С. З. Каценбогена, Саратов, 1928, стр. 223—243. Ср. замечания о влиянии Жорж Санд на Чернышевского у Г. Плеханова, Н. Г. Чернышевский, СПб. 1910, стр. 71—72 и др.

[12] Нестор Котляревский, Канун освобождения, Пгр. 1916, стр. 419.

[13] «Русск. Беседа», 1856, кн. I.

[14] Ср., например, рассказ о столкновении Белинского с А. О. Смирновой в мае 1846 г.: «Под самый конец вечера дело дошло до Жорж Занд, и когда Белинский стал об ней говорить, как о некоем божестве, которое, впрочем, начинает портиться, ибо в последних романах ее видны признаки раскаяния и других добродетелей, то А. О. [Смирнова] вспыхнула, да ведь как! Начала кричать на Белинского довольно резко и доказывать весь вред и всю степень разврата Жорж Занд» («И. С. Аксаков в его письмах», т. I, СПб. 1896, стр. 332—333).

[15] Об этой полемике см. Николай Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 15, СПб. 1901, стр. 176—195.

[16] Еще в 1857 г. Тургенев, в письме к С. Т. Аксакову, говорил о «болтовне зарапортовавшейся Занд» («Вестник Европы», 1894, № 2, стр. 498).

[17] И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, Л., 1933, стр. 270—271. О личных отношениях Тургенева и Жорж Санд см. В. Каренин, Тургенев и Жорж Санд («Тургеневский Сборник», под ред. А. Ф. Кони, Пгр. 1921, стр. 87—129).

[18] Н. А. Некрасов, Собрание сочинений, т. V, Письма, М.—Л. 1930, стр. 83. В «Современнике», 1847, кн. VII на обложке значилось: «Продолжение романа Жорж Занда «Пиччинино» не могло быть напечатано по причинам, независящим от редакции». В IX кн. «Современника» (стр. 147—153) был дан краткий пересказ окончания «Пиччинино».

[19] См. И. Айзеншток, Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову. («Литературное Наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 518).

[20] Белинский, Письма, т. II, СПб. 1914, стр. 318.

[21] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1834 г., № 119. Дозволено к обращению в России в 1863 г. (рапорты за 1863 г., № 162).

[22] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1837 г., № 243. Главное управление цензуры утвердило мнение Комитета цензуры иностранной о запрещении этого сочинения для публики.

[23] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1839 г., № 760. Главное управление цензуры утвердило мнение о запрещении этой книги для публики. Роман был дозволен во французском оригинале в 1862 г. (рапорты за 1862 г., № 4031).

[24] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1841 г., № 715.

[25] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1842 г., № 691.

[26] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1843 г., № 1039.

[27] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1843 г., № 1152.

[28] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1844 г., № 408.

[29] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1846 г., № 262.

[30] Доклад не датирован, относится к октябрю—ноябрю 1848 г., так как 8 ноября 1848 г. Главное управление цензуры утвердило мнение цензора и комитета о запрещении этого романа для публики (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1848 г., № 700). Роман был дозволен иностранной цензурой к обращению в России в 1873 г. (рапорты за 1873 г., № 4244).

[31] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. I, СПб. 1905, стр. 377.

[32] Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. VI, СПб. 1903, стр. 198—199.

[33] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского ценз. к-та за 1854 г., № 500. Подлинник по-французски. На основании этого отзыва роман был запрещен для публики.

[34] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского ценз. к-та за 1854 г., № 790. Подлинник по-французски. На основании этого доклада «Indiana» была запрещена для публики, а «Melchior» дозволен в целости. Роман «Indiana» был снова дозволен иностранной цензурой в 1863 г.

[35] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1856 г., № 109. Остальные томы этого сочинения дозволялись, за исключением отдельных мест, в 1854, 1855 и следующих годах.

[36] Например, В. Зайцев (см. его Избранные сочинения, т. I, М. 1934, стр. 255, 273), Дебэ («Русское Слово», 1864, № 9, стр. 65) и др.

V. А. де МЮССЕ—Т. ГОТЬЕ—Ш. БОДЛЭР

Объединяя в этой главе столь несхожие творческие индивидуальности, мы, естественно, не предполагаем, в какой бы то ни было степени, устанавливать их поэтическое родство между собой, равно как и прослеживать возможные их взаимоотношения и взаимовлияния. В рамках нашей работы трое названных поэтов интересуют нас, как характерные примеры отношения царской цензуры к произведениям, культивирующим «искусство для искусства» и, казалось бы, по самому своему существу, далеким от всякой политики, ибо трудно было бы при самом пристрастном отношении, при самой болезненной чуткости ко всякому даже беглому, неясному и случайному намеку на «политику» отыскать следы ее, скажем, в лирике А. де Мюссе, в «Mademoiselle de Maupin» или в «Emaux et camées» Т. Готье, в «Les fleurs du mal» Ш. Бодлэра— т. е. в произведениях, создававших творческий облик поэтов не только в представлении рядовых читателей, но и цензурного ведомства. Казалось бы, на книгах Мюссе, Готье, Бодлэра чиновники цензуры могли отдыхать, не рискуя попасть впросак, не рискуя пропустить чего-либо «непозволительного» и крамольного.

Однако, при ближайшем знакомстве с материалом оказывается, что это априорное предположение не выдерживает критики: не говоря уже о том, что книги французских поэтов, представителей «чистого искусства», или «искусства, для искусства», подвергались столь же внимательно-придирчивой критике, они сплошь да рядом получали отрицательную оценку, запрещались, причем запрещение это действовало иногда в продолжение ряда десятилетий. Не доверяя установившимся литературным репутациям, цензурные чиновники настойчиво применяли испытанный метод своей работы, заключавшийся в регистрации малейших уклонений от неписанного, но довольно

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ
Фотография, снятая во время пребывания Готье в Петербурге в 1859 г.
Литературный музей, Москва

четко сознаваемого канона, политического, общественного и нравственного, блюсти который была призвана царская цензура.

Поэтому-то, например, подверглась запрещению книга А. де Мюссе «Un spectacle dans un fauteuil» (Paris, 1834), в которой внимание цензора Г. Р. Дукшта-Дукшинского привлекла особенно драма «Lorenzaccio». «Она представляет,—отмечает протокол Петербургского цензурного комитета от 19 апреля 1835 г.,—Флоренцию под скипетром герцога Александра Медичи, человека жестокого и распутного, важнейшее же место занимает в сей драме Лоренцо Медичи, родственник герцога. Главное содержание оной есть следующее: ложные понятия о свободе возбудили в Лоренцо пламенное желание освобождения Италии от самодержавной власти. Убиение тирана казалось ему делом геройским, а имя нового Брута—высшею степенью славы... Автор представляет Лоренцо не как закоснелого преступника, но как человека, решившегося на убийство из любви к свободе и отечеству с геройским самоотвержением: возбуждает негодование против насильственных действий герцога и его любимцев, и, напротив того, уважение к патриотам, защищающим свои права, а малодушие людей, увлекающихся личными выгодами или не имеющих довольно решительности для защищения свободы, наказывает презрением. Такое стремление обнаруживается, конечно, более из общего хода действия, нежели из частных мест, но и приведенные господином цензором места (на стр. 131, 138, 147, 158, 182 и 251), которые можно еще более увеличить, достаточно показывают предосудительность сей пьесы. При сем господин цензор замечает, что одобрение приведенных мыслей Филиппом Строцци имеет особенную важность, ибо автор представляет его, как истинного патриота и добродетельного человека. Признавая, с своей стороны, дух сей пьесы противным цензурным правилам и могущим произвести невыгодное впечатление, г. Дукшинский представляет о запрещении первого тома сей книги, в коем она находится».

В других пьесах цензор отметил лишь несколько отдельных мест, из которых часть хотя и «произносятся шалуном, принявшим на себя роль придворного шута, однако же господин цензор почитает оные неприличными и подлежащими исключению». С выводами цензора согласился и комитет, нашедший, в частности, первую пьесу «написанною в опасном либеральном духе и могущею производить на многих читателей вредное впечатление»[1].

В следующем 1836 г. внимание цензуры было привлечено к знаменитому роману А. де Мюссе «La confession d'un enfant du siècle», в котором, по объяснению цензора В. И. Соца, «автор старался преимущественно обнаружить причины и состояние испорченности нравов молодых людей, подобных Октаву, а чтобы уничтожить невыгодное впечатление, которое могло бы произвести описание любовных связей героя, софизмы его и дерзкие уподобления, несовместимые с должным уважением к предметам высоким и священным, он употребил такую развязку, которая, обращая Октава к раскаянию, направляет его сочинение к благовидной цели».

При таком, в общем совершенно благоприятном, отношении цензора к роману, его несколько смущали лишь отдельные «разного рода предосудительные или сомнительные места», к которым внимание направлялось соответствующей статьей цензурного устава, предписывавшей относиться к иностранным художественным произведениям с бóльшей строгостью в отношении нравственности их содержания, чем к произведениям отечественной словесности. Цензурный комитет, однако, отнесся к роману А.де Мюссе значительно строже цензора и нашел, что «главный предмет романа «La confession d'un enfant du siècle» состоит в описании гнусной и развратной жизни героя; что советы и суждения скептика и эпикурейца, служившие к подавлению в нем стыда и совести, приводятся не только без опровержения, но и без указания вредных последствий порочной жизни; что при таких предосудительных сценах и рассуждениях благовидность развязки, состоящая в раскаянии Октава, не может

не уничтожить опасного впечатления, произведенного на читателей содержанием романа, ниже оправдывать вредных суждений под предлогом выдержания характера действующего лица, тем более, что преступление или порок остается здесь без наказания, да и самое раскаяние Октава имеет вид сомнительный, ибо действие оного состоит только в том, что он уступает любовницу счастливейшему сопернику». Поэтому цензурный комитет признал не только отдельные отмеченные цензором места, но и самый «дух сего романа предосудительным» и запретил его для публики[2].

«Он изображает,—писал цензор о поэме «Rolla»,—молодого человека, зараженного тем, что он называет болезнью века, скептического и влюбленного в удовольствия. Ставши хозяином своего состояния в 14 лет, он делит его на три части, которые прожигает в три года, и, наконец, когда исчезает последний грош, он принимает яд и умирает в объятиях куртизанки.

Вот портрет, сделанный г-ном Мюссе со своего героя, так дешево разделавшегося с обязанностями, которые налагает на нас бог, даруя нам жизнь.

C'était un noble cœur naïf comme l'enfance.
Bon comme la pitié, grand comme l'espérance.
Il ne voulut jamais croire à sa pauvreté.
L'armure qu'il portait n'allait pas à sa taille,
Elle était bonne au plus pour un jour de bataille,
Et ce jour là fut court comme une nuit d'été.

Это было благородное сердце, чистое, как само детство.
Великодушное, как сама жалость, большое, как сама надежда.
Он никак не хотел поверить в свою бедность.
Доспехи же, которые он носил, были ему не по росту.
Они годились, быть может, для дня битв,
А день этот был короток, как летняя ночь.

«Никогда еще сын Адама, говорит он выше, не проносил через всю землю, с востока до запада, более глубокого презрения к народам и королям». Далее, сравнивая своего героя с неукротимой кобылицей, автор говорит, что из странной глины должен был слепить бог это существо — орла или ласточку, которое не умеет ни гнуть шеи, ни опускать крыльев и для которого все блага в одном слове: свобода.

Цитируемые места находятся на стр. 8 и 9. Если поэт ничего не пожалел, чтобы возбудить интерес к своему герою, то не меньше обаяния постарался он придать девушке, с которой Ролла проводит в публичном доме свою последнюю ночь. Она спит в ожидании своего возлюбленного.

Ses longs cheveux épars la couvrent tout entière,
La croix de son collier repose dans la main,
Comme pour témoigner qu'elle a fait sa prière
Et qu'elle va la faire en s'éveillant demain.
Elle dort, regardez: quel front noble et candide.
Partout comme un lait pur sur une onde limpide,
Le ciel sur la beauté répandit la pudeur.
Elle dort toute nue, la main sur son cœur (p. 10).

Ее длинные, распущенные волосы всю ее покрывают,
Крест, что она носит на груди, зажат в ее руке
Как бы в знак того, что она молилась
И будет молиться завтра, проснувшись.
Она спит; взгляните, как ясно, благородно ее чело,

Словно чистое молоко на прозрачную воду,
Пролило небо повсюду целомудрие на ее красоту,—
Она спит обнаженная, положив руку на сердце (стр. 10).

Мог бы автор сказать больше, если бы стал описывать чистую, целомудренную девушку? Автор преисполнен жалости к молодой куртизанке, и вместо того, чтобы осудить дурные наклонности, которые, разумеется, и толкнули ее на путь порока, он находит для нее извинение и относит ее позор за счет бедности и нужды.

«Нужда, говорит он, это ты—куртизанка» и т. д. и т. д. (стр. 14—15). Можно процитировать еще тысячу мест; например, на стр. 4 и 5 автор трактует христианство, как мертвую религию... на стр. 16 вкладывает в уста Ролла, рассказывая об его последнем ужине, следующие слова: «Христос за последней своей вечерей испытал меньше страха, чем сердце мое испытало веселья за последним моим ужином» и т. д. Смотри также отмеченные места на стр. 17—18, 27.

Я предлагаю запретить всю поэму (от стр. 1—27). Подчеркиваю также, на стр. 295, вторую строфу в «Сонете к читателю»:

«Всё *уходит, наслаждения и нравы прошедшего века, короли, побежденные боги* и странствующий случай...».

Поэма «Ролла» не только безнравственна, поскольку хочет сделать из двух погрязших в разврате лиц интересные образы и ангелов (см. стр. 17), она проникнута сверх того скептицизмом и антирелигиозностью, изображает христианство, как нечто мертвое, а мир лишенным ведущей религии и ожидающим нового Мессию»[3].

Приведенный рапорт достаточно показателен. Если политических обвинений по отношению к отдельным произведениям французской литературы,—в целом взятой под подозрение, как «крамольная»,—предъявить было невозможно, на помощь цензору являлись параграфы цензурного устава, предписывавшие запрещать произведения, «могущие поколебать учение православной церкви или вообще христианской веры», либо «оскорбляющие добрые нравы и благопристойность» и т. д.

Обвинения такого рода выдвигались цензурой и против произведений Теофиля Готье. Еще в 1836 г. был запрещен его известный роман «Mademoiselle de Maupin», в котором, по мнению цензора В. Соца, «кроме соблазнительных и вредных для воображения описаний, встречаются... непристойные и дерзкие сравнения с предметами священными и высокими»[4]. И роман был запрещен настолько основательно, что еще 72 года спустя, т. е. в 1908 г., цензору И. Г. Трейману пришлось, для пересмотра старого решения, вступать в полемику с давно покойным Соцем. Пересказав содержание романа, отметив, что «роман этот написан с крайнею непринужденностью», но что отдельные сцены производят впечатление «написанной яркими красками картины великого художника, вроде Тициана» (речь идет об описании любовной ночи Розалинды и Альбера), цензор писал далее: «Во всем романе эротические сцены по своему характеру и изложению мало отличаются от подобных же сцен в дозволенных сочинениях современных французских писателей. Что касается непристойных сравнений со священными предметами, на которые указывает цензор г. Соц, то я ничего непристойного в них не вижу. Что, например, можно иметь против такой мысли: если бы рай имел характер музыкальный, то было бы весьма скучно в течение десяти тысяч лет слушать одну бесконечно длинную сонату! (стр. 222, строки 9—12 снизу).

Единственное сравнение, обращающее на себя внимание, следующее: Розалинда говорит, что она невинна, как Мария до совокупления ее с божественным голубем («comme Marie avant d'avoir fait connaissance avec le pigeon divin», стр. 412, строки 2, 3 сверху).

Принимая во внимание, что Теофиль Готье принадлежит к числу знаменитейших французских писателей и что запрещение состоялось более 70 лет тому назад, я полагал бы в настоящее время роман этот дозволить»[5].

РИСУНОК ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Обвинения Теофиля Готье в кощунстве и «неуважительном отношении к священным предметам» наиболее часты в цензурных докладах о его произведениях. Упоминавшийся уже В. Соц, характеризуя (7 сентября 1838 г.) роман Т. Готье «Fortunio» (Paris, 1838), указывал, что «встречающиеся в этой книге описания эпикурейства, сибаритства и сладострастия... не произведут вредного впечатления в романе, более фантастическом, чем направленном к оскорблению добрых нравов». Зато и цензор и цензурный комитет отметили в романе ряд мест, охарактеризованных, как «предосудительные» «по заключающемуся в них кощунству»; многочисленность этих мест, делавшая невозможным *исключение их, послужила основанием для запрещения* всего романа в целом[6]. Подобным же образом, в 1839 г., по докладу того же В. Соца, был запрещен сборник Т. Готье: «Une larme du diable» (Paris, 1839), за первое произведение в нем (давшее заглавие и всему сборнику). «По мнению нашему,—писал цензор,—эта мистерия не *может быть пропущена как по неприличию ее содержания, так и по многим шутливым* выходкам, встречающимся в разговоре лиц пресвятой троицы, божьей матери, святой Магдалины, Дездемоны, Отелло и проч.»[7].

Обвинения в безнравственности и кощунстве составляют основное содержание цензурных отзывов и о поэзии Шарля Бодлэра, в частности, о его знаменитых «Цветах зла». Еще в отзыве цензора А. де Лакроа о первом издании «Les fleurs du mal» (Paris, 1857) подчеркивалось, что «разбираемые стихотворения не могут не возбудить чувства отвращения. Автор проявляет почти в каждом из них отравленную душу свою и отвратительными сравнениями, взятыми из разврата и преступления, старается, кажется, вкоренить в читателе глубокое презрение к человеческой природе. Несмотря на мнимое нравственное направление, которое, как видно из эпиграфа, автор приписывает своим стихотворениям, он сам, кажется, чувствует безнравственность своей поэзии, ибо в надписи над отделом «Révolte» на стр. 217 он некоторым образом старается извинить себя пред читателем». «Я полагаю,—заключает цензор,—что разбираемые стихотворения, как безнравственные, подлежат запрещению для публики»; с этим заключением согласился и цензурный комитет[8].

Несмотря на запрещение, стихи Бодлэра всё же получили в России значительное распространение, преимущественно в переводах: в шестидесятых годах его переводили В. Лихачев, В. Курочкин; с восьмидесятых устанавливается даже своеобразный культ Бодлэра у символистов, культ, продолжавшийся вплоть до начала нового века. «Стре-

мясь уйти от действительности, наши декаденты (Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Анненский, а еще раньше Мережковский и Минский) находили оправдание своим настроениям в чеканных стихах «Цветов зла», где презрение к жизни и природе возводилось в принцип и перл создания» (А. Луначарский). Влиянию Бодлэра подпадали даже такие, казалось бы, идеологически совершенно чуждые ему лица, как П. Якубович, которому принадлежит первый сборник переводов французского поэта. Количество отдельных переводов Бодлэра исчисляется сотнями, а число его русских переводчиков и подражателей—многими десятками[9].

В России конца XIX—начала XX вв. популярность Бодлэра едва ли не превышала популярность его у себя на родине, но, тем не менее, популярность эта сопровождалась длительным запрещением французских текстов поэта. Лишь после революции 1905 г. цензура нашла возможным пересмотреть свое старое постановление относительно «Les fleurs du mal» и аргументировать возможность беспрепятственного пропуска этой книги Бодлэра (а также и других) в Россию. Доклад цензора Н. А. Васенцовича-Макаревича по этому поводу настолько любопытен, что заслуживает быть приведенным полностью.

«Сборник стихотворений Бодлэра под общим заглавием «Les fleurs du mal»,—писал цензор (1 ноября 1906 г.),—впервые появился в половине прошлого столетия и в то время произвел большую сенсацию: трактование в стихах о различного рода болезнях, смерти, разложении трупов, о пьянстве или проституции—было явлением новым, оскорблявшим нежный слух читателя, привыкшего встречать в стихах лишь воспевание всего прекрасного. Стихотворения Бодлэра создали около себя целую литературу: многие известные писатели должны были защищать их от нападок злой критики и суровой цензуры. Неудивительно, что и в России до последнего времени «Les fleurs du mal» считалась книжкою запрещенной.

Пересмотрев их, по поручению комитета, я нахожу, что в настоящее время к ним вполне возможно отнестись снисходительно по следующим соображениям:

1) потому, что теперь публика уже привыкла встречать ультрареалистические изображения жизни не только в прозе, но и в стихах, причем современные поэты доводят этот реализм до порнографии, чего у Бодлэра нет;

2) потому, что сочинения в стихах читаются вообще неохотно публикой, а потому и мало распространены, а поэты середины прошлого столетия предполагаются настолько устаревшими, что едва ли могут возбудить большой интерес к себе в настоящее время

и 3) потому, что издание, бывшее у меня в рассмотрении, благодаря пространному предисловию Теофиля Готье и снабжению его многими статьями и письмами к Бодлэру известных в литературе лиц, является хорошо освещенным и комментированным: в нем читателю нетрудно разобраться, что за поэт был Бодлэр, каковы были его взгляды и какие цели он преследовал в своих стихотворениях. Это был поэт-сатирик, хотя, может быть, и несколько болезненно настроенный. Изображаемые им картины разврата или извращенности не смакуются им, а напротив, автор относится к ним с отвращением, бичует, а не воспевает порок и грязь (стр. 31); упрекать поэтому Бодлэра в безнравственности едва ли справедливо (стр. 20).

В настоящее время, при современных цензурных условиях, можно обратить внимание комитета лишь на те места, в которых, повидимому, заключается кощунство. Говорю повидимому, потому что и тут можно видеть не намеренное кощунство, а тоже сатиру, бичующую не бога, а людей. Вот эти места:

1) Под влиянием вина пьяница, радуясь избавлению от умершей жены, восклицает: «Je m'en moque comme de dieu, du diable ou de la sainte table» (стр. 301).

2) На стр. 327—328 помещено стихотворение «Le reniement de saint Pierre», в котором сыплются упреки по адресу бога, например: «Comme un tyran gorgé de viande et de vins, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes». Затем автор трогательно

говорит о бесконечном человеколюбии Христа и возмущается тем, что его идеалы не соответствуют действительной жизни, а потому св. Петр хорошо сделал, когда он отрекся от Христа.

3) На стр. 332—335 встречается акафист диаволу: «Les litanies de satan», который прославляется, как «le plus savant et le plus beau des anges, dieu trahi par le sort et privé de louanges». Теофиль Готье считает это стихотворение за «une de ces froides ironies familières à l'auteur ou l'on aurait tort de voir une impiété» (стр. 37)[10].

Не будем торопиться делать выводы из опубликованного в этом очерке материала: выводы эти будут убедительны лишь в общей цепи выводов, на которые нас уполномочит весь собранный в настоящей работе материал. Принципиально новым в материалах настоящего очерка является полнейшее игнорирование чиновником-цензором установившихся литературных оценок и репутаций писателей. Собственно литературные оценки появляются в цензурных отзывах лишь в XX в., аргументируя смягчение предшествующих цензурных запретов; решающим же моментом в определении приемлемости поэта с точки зрения цензуры являлась всё та же буква параграфа, усугубляемая в отдельные периоды всевозможными добавочными обстоятельствами политического и общественно-психологического свойства.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1835 г. Лишь в 1896 г. драма «Lorenzaccio» была разрешена к представлению на сцене императорских театров в специальной переделке артиста Н. Ф. Арбенина; на частные же сцены она была допущена и еще позже—в 1900 г., после полнейшего устранения и обезвреживания всех сомнительных в цензурном отношении и «неудобных» мест (Драм. ценз., 1900 г., д. № 33).

[2] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1836 г., 29 мая.

[3] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского цензурного комитета за 1853 г., № 424. Дата доклада Ю. И. Гинье—2/14 января 1853 г. Лишь в 1865 г. «Poésies nouvelles» были освобождены от запрещения и дозволены целиком, наравне с классическими произведениями. Тогда же были отменены исключения, сделанные цензурой в другом сборнике А. де Мюссе—«Premières poésies. 1829—1835» (СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1865 г., № 16).

[4] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1836 г., № 198.

[5] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1908 г., № 374.

[6] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1838 г. «Fortunio» был разрешен лишь в 1888 г. (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1888 г., № 334).

[7] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1839 г., № 383; дата рапорта—17 мая 1839 г. Запрещение «Une larme du diable» было подтверждено и позже, при рассмотрении сборника Т. Готье «Théâtre, mystères, comédies et ballets» (3-e éd., Paris, 1882); см. СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1884 г., № 6752.

[8] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1859 г., № 448; дата доклада—24 января 1859 г. В 1881 г. за порнографический характер был запрещен сборник «Complément aux Fleurs du mal» (Bruxelles, 1869). В 1883 г. «Les épaves» (Bruxelles, 1874), также рассматривавшийся, как приложение к «Les fleurs du mal» (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1883 г., № 5223; Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 7006).

[9] Л. Рапопорт, Шарль Бодлэр в русских переводах («Книжные Новости», 1936, № 12, стр. 22—23).

[10] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 7000. Несмотря на это свое разрешение, два года спустя, при наступлении реакции, цензурное ведомство попыталось снова изъять несколько стихотворений из «Цветов зла» в переводе Арсения Альвинга: по заключению совета Главного управления по делам печати «три стихотворения из числа помещенных в названной книге под заглавиями: 1) «Крышка», 2) «Отречение св. Петра» и 3) «Акафист сатане», носят в себе признаки кощунственного отношения к вопросам религиозного значения». Совет обращался к прокурору Петербургской судебной палаты с просьбой «о возбуждении судебного преследования против переводчика, а равно и против других лиц, могущих оказаться виновными по тому же делу», однако, никаких дальнейших сведений об этом деле ни в архивных материалах, ни в литературе нам не удалось разыскать.

VI. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О. БАЛЬЗАК, Г. ФЛОБЕР, О. МИРБО, А. ФРАНС, Г. МОПАССАН

Прогрессивные, демократические тенденции французского реализма, успех этого направления среди широких масс читателей—всё это не могло не привлечь к себе пристального внимания царской цензуры. Начиная с 50-х годов и вплоть до самой революции 1917 г. идет тщательная цензурная регистрация всех без исключения выдающихся реалистических произведений французской литературы, в большинстве случаев—с ограничительными или запретительными выводами.

Следует заметить, что внимание цензуры лишь отчасти затронуло родоначальника французского реализма и крупнейшего его представителя—Бальзака: ряд запретительных отзывов коснулся лишь отдельных и далеко не всегда типичных для писателя произведений, причем самые мотивировки запрещений, в сущности, мало характерны и являются отражениями общих цензурных тенденций. Так, в 1829 г. был запрещен роман «Le dernier chouan de la Bretagne en 1800» (Paris, 1829, 4 vols.), вследствие обнаруженных в нем цензором четырех «неуместных» в романе мест, а также «неуместного» выбора для эпиграфа «слов священного писания». «Но как, впрочем, первые могут быть некоторым образом оправданы желанием автора представить верную картину нравов тогдашнего времени, а второе обстоятельство не обратит, вероятно, на себя внимания читателей», то цензор предлагал даже разрешить книгу с незначительными исключениями, с чем, однако, не согласился цензурный комитет, повидимому, не желавший допускать каких-либо упоминаний о гражданской войне во Франции[1].

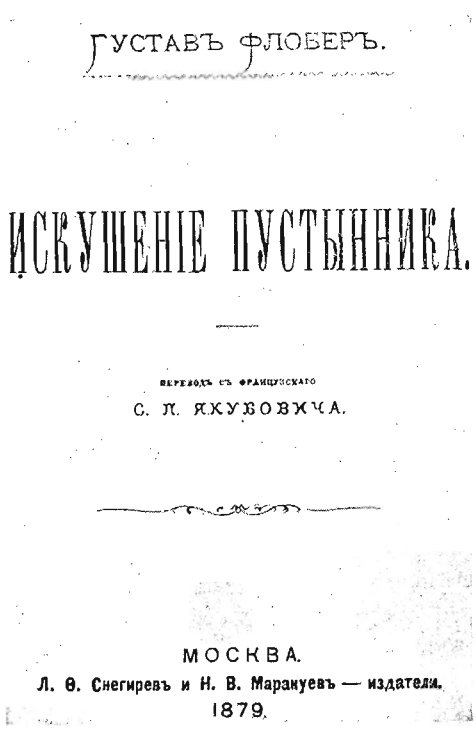
В конце 1831 г. внимание цензуры обратил на себя знаменитый роман Бальзака «La peau de chagrin» (Paris, 1831). Цензор В. Соц предлагал запретить это сочинение для публики, так как, по его мнению, «философия сего романа состоит в том, чтобы представить надежнейший расчет тех, кто заботится только о настоящем наслаждении». В ряде мест романа цензор обнаруживал «довольно опасный дух сочинения», «дерзкие и непристойные выражения и мысли, противные правилам цензуры». Однако, решение комитета, согласившегося с цензором, было опротестовано статс-секретарем А. Н. Олениным, членом Главного управления цензуры. В письме к правителю дел этого управления, В. Д. Комовскому, от 21 ноября 1831 г. Оленин писал, что в этом романе Бальзака «ничего нет революционного, безбожного или слишком скоромного». В следующем же заседании Главного управления роман был пропущен[2].

В 1832 г. «Contes drôlatiques (première dizaine)» вызвали у того же В. Соца, в общем, сочувственный отзыв: «Повести сии,—писал он,—написанные старинным наречием, вероятно, не произведут, по сей причине, вредного впечатления на читателей». Однако, осторожный цензор не решился всё же самостоятельно дозволить книгу, составленную, по его же словам, «в подражание Рабле, Боккачио и другим писателям, отличавшимся даром шутливого повествования и выражавшимся о предметах щекотливых и соблазнительных с излишнею откровенностью и ясностью, соответствовавшими духу и нравам их времени»; цензурный же комитет, очевидно, имея в виду усилившуюся борьбу с «безнравственностью» «французской словесности», предпочел книгу вовсе запретить для публики[3].

Следующая книга Бальзака, «Le livre mystique» (Paris, 1835), была запрещена, так как «мнения действующих лиц и самого автора» «могут подать повод к предположениям противным истинной вере»; в частности, внимание цензора В. Соца привлекали «мудрования» Серафиты, в которых она разбирает «важнейшие философские и богословские доводы о боге и обнаруживает, что все они неудовлетворительны, влекут ум человеческий в сомнение или заключают в себе явную нелепость»[4].

Затем, в течение ряда лет, все новые произведения Бальзака беспрепятственно проникали в Россию, переводились, создав ему громкое, хотя и дискуссионное имя, и не

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИЗДАНИЯ ПОВЕСТИ ГЮСТАВА ФЛОБЕРА „ИСКУШЕНИЕ ПУСТЫННИКА", СОЖЖЕННОГО ПО ПРИГОВОРУ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ.


ГУСТАВЪ ФЛОБЕРЪ.

ИСКУШЕНІЕ ПУСТЫННИКА.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО
С. Л. ЯКУБОВИЧА.

МОСКВА.
Л. Ѳ. Снегиревъ и Н. В. Марануевъ — издатели.
1879.

вызывали каких-либо цензурных вмешательств, по крайней мере таких, которые нашли бы отражение в документах. Лишь «эпоха цензурного террора» и особо пристальное внимание ко всему, что идет из Франции, явились причиной цензурных преследований нескольких новых книг Бальзака.

Так, 20 декабря 1849 г. цензор Г. Нагель представил доклад о романе Бальзака «La cousine Bette» (Bruxelles, 1847, 3 vols.), в котором, между прочим, писал: «было бы слишком долго приводить здесь все мерзости, которые содержит в себе эта книга, и мы ограничимся заявлением, что направление ее глубоко безнравственно: развращенность и сладострастие представлены с их самой соблазнительной и опасной стороны. Было бы излишне и затруднительно перечислять места, подтверждающие это, так как роман переполнен извращающими нравственность сценами». Конечный вывод цензора — «нужно запретить распространение этой книги» — был поддержан и комитетом[5].

20 мая 1853 г. цензор Б. Р. Гольмбладт, по поводу второго тома «Les Paysans. Scènes de la vie de campagne» (Paris, 1845), отмечал, что «автор имел в виду состояния крестьян во Франции» и «изображает эти состояния, по крайней мере, в некоторых местах Франции,—в глубоком упадке нравственном». Тем не менее, цензор полагал, что «в цензурном отношении том этот... может быть позволен, но без перевода на русский язык и за исключением некоторых выражений и сравнений, показавшихся мне неуместными». С этим заключением согласился и цензурный комитет[6].

Значительно строже отнесся цензурный комитет к двум другим книгам Бальзака, запрещенным для публики, несмотря на почти полное отсутствие в них чего-либо могущего повлечь за собой цензурные репрессии. Так, по поводу «Maximes et pensées» (Paris, 1852) цензор Г. Дукшта-Дукшинский замечал, что «в этой книжке собраны всякого рода афористические изречения, правила и мысли, вообще не противные уставу о цензуре». Правда, цензор отмечал всё же некоторые места (вроде, например, таких: «Религия всегда будет политической необходимостью». «Мысль двойственна.

Янус есть миф критики и символ гения. У одного только бога—три лика»), но тут же оговаривался, что «этих мест нельзя, по мнению нашему, подводить ни под одну из статей свода законов уголовных и исправительных». Однако, комитет счел более предусмотрительным всё же запретить книгу для публики[7]. Тот же цензор по поводу брошюры «Traité de la vie élégante» (Paris, 1853) писал: «Нынешнее общество разделено, по мнению автора, на три класса: рабочий, мыслящий и праздный. К последнему он относит, под названием vie élégante, людей, не имеющих надобности и желания трудиться и заботящихся только о туалете и приятном провождении времени. Описание оттенков этой жизни в сатирическом тоне составляет предмет сей брошюрки». В ней цензор не нашел «ничего противного уставу о цензуре», кроме «нескольких неприличных мест». Однако, и эту брошюру цензурные органы запретили для публики[8].

Столь же строгой оказалась царская цензура и по отношению к книге «Les fantaisies de Claudine» (Paris, 1853), о которой цензор Ю. Гинье писал:

«Так как книга эта—непрестанная насмешка над благородными чувствами; так как на стр. 12 и 13 г-н де Бальзак доходит до того, что утверждает, что находится в богемной среде дипломатов, способных опрокинуть план России, и что, если бы русский император купил эту богему за какие-нибудь 20 миллионов и переселил бы ее в Одессу, через год Одесса превратилась бы в Париж; так как множество деталей этой книги противны общественной морали; так как, наконец, на стр. 89 он показывает своего водевилиста де Брюэля награжденным орденом св. Владимира (2-й степени),—необходимо запретить этот роман для публики»[9].

Наконец, в 1855 г. был запрещен для распространения роман «Jean-Louis» (Paris 1854), о котором цензор Ю. Гинье отзывался, в общем, положительно. «Роман,—писал он,—совершенно нравственный по существу, заключает кое-какие непристойные места, в том числе направленные против священников, хотя сама религия ни в чем не оскорбляется»[10].

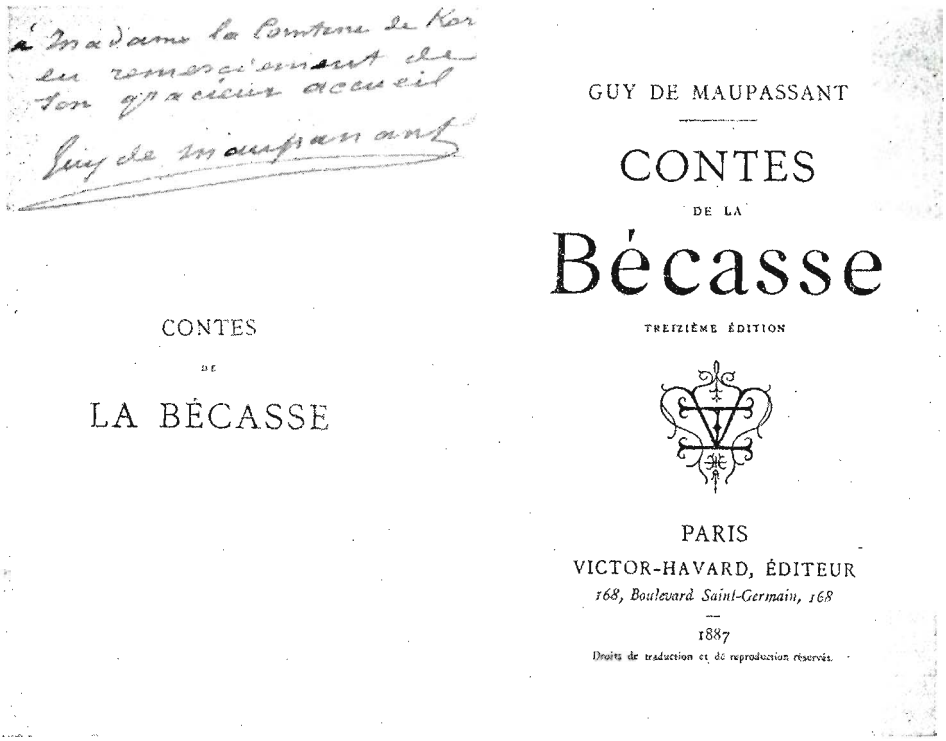
Как видно из сделанного обзора, цензурные материалы о Бальзаке не обнаруживают не только какого-либо специфически повышенного интереса к писателю (как это имело место, например, по отношению к Гюго и др.), но и простого понимания его выдающегося положения в литературе. Для царской цензуры 30—50-х годов, как, впрочем, и для подавляющего большинства русских читателей и критики рассматриваемой эпохи, Бальзак—лишь занимательный беллетрист, бытописатель, не слишком глубокий, слегка фривольный, слегка вольнодумный в вопросах политических и религиозных, но отнюдь не нецензурный (подробно об этом в работе Л. П. Гроссмана, Бальзак в России). Более глубокое понимание Бальзака пришло значительно позднее, когда, ввиду огромной популярности писателя, всякое цензурное вмешательство оказывалось уже запоздалым и бесцельным. Таким образом, царская цензура обошла Бальзака, недооценила мощного познавательного и революционизирующего значения его «Человеческой комедии».

Иным было отношение к творчеству Г. Флобера. Почти во всех его произведениях цензура обнаружила прямые нарушения параграфов цензурного устава.

Так, еще в 1857 г. цензор А. Н. Майков затруднялся решить, может ли быть допущен для перевода на русский язык знаменитый роман «Madame Bovary. Mœurs de province» (Paris, 1857), так как «в нем представлены любовные интриги замужней женщины, предающейся любви со всей необузданностью развращенного воображения»[11]. Эти ханжеские ноты явственно звучат и в двух позднейших цензурных документах, касающихся русских переводов «La tentation de Saint-Antoine» и «La légende de Saint-Julien l'hospitalier».

В 1880 г. по приговору комитета министров была сожжена книга «Искушение пустынника», соч. Густава Флобера, перевод С. Якубовича (М., 1879), о которой министр внутренних дел Л. Маков сообщал следующее:

«Несмотря на благовидную, повидимому, цель автора изобразить величие и торжество христианства в борьбе с враждебными силами, книга его производит противоположное впечатление. Она наполнена самыми резкими, возмутительными и оскорбляющими религиозное чувство нападениями на христианство и на христианскую церковь. Автор влагает то в уста самого Антония, то в уста еретиков и древних богов такие речи, и при этих речах представляет такие картины, которых нельзя ни понять, ни назвать иначе, как глумлением над христианством и христианскою церковью». Находя, что «подобного рода книга как по своему содержанию, так и по оригинальному своему изложению, не лишенному таланта, должна найти у нас многочисленных читателей, особенно в среде неустановившейся молодежи обоих полов, и что она, не-



ЭКЗЕМПЛЯР „CONTES DE LA BECASSE" МОПАССАНА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПИСАТЕЛЯ
Собрание В. А. Десницкого, Ленинград

сомненно, произведет на них самое вредное влияние», министр внутренних дел предлагал уничтожить книгу, добавляя, что «судебного преследования по сей книге цензурное ведомство возбуждать не предполагает»[12].

В 1892 г. цензор С. Коссович докладывал о необходимости запретить новый перевод «Сказа о Юлиане Милостивом», хотя до того легенда эта не вызывала особенно существенных возражений.

«Рассказ Флобера, при многих его достоинствах,—по мнению цензора,—не может быть пригоден для распространения его в народе. А что он в обработке его на русский язык имеет такое назначение, не подлежит никакому сомнению, так как представлен издательскою фирмой «Правда», выпускающей исключительно одни книги для простолюдинов. Не может быть дозволен «Сказ о Юлиане Милостивом» потому, во-первых, что вмещает в себе иллюстрацию пантеистических воззрений Флобера. Животные и люди в его представлении—те же равноправные проявления божественной природы.

И, во-вторых, потому, главным образом, что изображение Христа в таком отталкивающем реальном виде, как это сделано в рассказе, противоречит духу учения православной церкви. Весь этот реализм отзывает ультракатолическими чувственными стремлениями, которые и проявляются в процессиях сердца Иисуса и т. п.».

Поэтому цензор полагал необходимым рукопись перевода «Сказа об Юлиане Милостивом» «воспретить к напечатанию, как сочинение, предназначенное к распространению в народе»[13].

Обвинения в кощунстве, антихристианских и антирелигиозных устремлениях и тенденциях, в пропаганде разврата раздавались в изобилии и по адресу Октава Мирбо, который вообще, нужно сказать, был популярен в России (особенно в первом десятилетии XX в.) едва ли не больше, чем у себя на родине. При этом популярность писателя шла преимущественно по линии чисто внешнего восприятия рисуемых им картин, без более глубокого проникновения в суть причин, вызвавших у писателя эти картины. В представлении публики (по крайней мере, значительной ее части) творчество Мирбо смыкалось с творчеством массы писателей, трактующих модную, в годы реакции, тему отношений полов. Отсюда и традиционное представление о Мирбо, как порнографическом писателе, представление, усердно поддерживавшееся и царской цензурой, так как оно сразу же устанавливало определенный тон в отношении к писателю и давало избыток поводов для цензурных вмешательств.

Так, например, еще в 1886 г. по докладу цензора Я. П. Полонского был запрещен роман О. Мирбо «Le Calvaire», так как «всюду на страницах романа разбросаны фразы, выражающие голую чувственность... Тут страсть, и продажность, и любовь, и разврат,—и всё это озаглавлено путем на Голгофу»[14].

По иным мотивам в 1913 г. было запрещено французское издание романа Мирбо «Dingo»: в нем цензура обнаружила и не сочла возможным пропустить «ряд кощунственных и богохульных выражений, насмешек над богом и догматами христианского учения».

Скоро, однако, в цензурных отзывах о произведениях О. Мирбо начинает доминировать новый мотив — обвинение в «социалистических тенденциях», в «сочувствии рабочему движению» и т. д. По поводу пьесы «Les mauvais bergers» (Paris, 1899) цензор М. Л. Златковский писал (15 ноября 1900 г.):

«Рассматриваемая пьеса представляет собою произведение тенденциозное, с социалистической подкладкой. Мораль этой пьесы очевидна: идеализированные автором рабочие, мученики за свободу и попранное право, заявляют свое «скромное» требование; но фабрикант, поддерживаемый аргументами своих пошлых сотоварищей-коммерсантов, не уступает рабочим и гонит их вон, сознавая справедливость их требований. В результате—всеобщее горе и разорение.

Комитет, обыкновенно, относится к драматическим произведениям заграничной печати более или менее снисходительно; во-1) потому, что драматические произведения имеют у нас весьма ограниченный круг читателей, а во-2) по той причине, что для постановки их на нашей сцене требуется еще и разрешение театральной цензуры. Но, в данном случае, я предлагаю эту пьесу запретить, ввиду ее тенденциозного содержания.

Конечно, русские рабочие ее не прочтут во французском оригинале; но ее может прочесть русская интеллигентная молодежь, на горячие головы которой может вредно повлиять идеализирование автором пролетариата»[15].

Под названием «Жан и Мадлена» перевод этой пьесы Мирбо был разрешен в 1905 г. нижегородским цензором и напечатан в Петербурге (1905 г.). Несмотря на это, саратовский цензор отказался разрешить другой перевод того же произведения под названием «Дурные пастыри» (Д. Бронина) и обратился в Главное управление по делам печати. Последнее, таким образом, снова возвратилось к обсуждению пьесы и поручило доклад о ней цензору И. Литвинову.

Цензор признал пьесу «безусловно вредной» «в смысле пропаганды рабочего движения, направленного на завоевание своих прав насильственным путем» и писал в своем докладе:

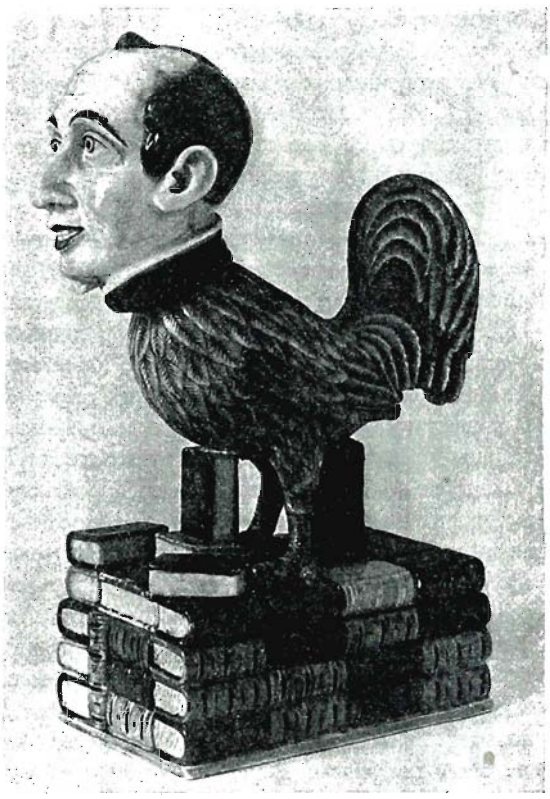
«В настоящее время вновь выпущена брошюра «Дурные пастыри» под заглавием «Жан и Мадлена» и разрешена нижегородским цензором. Принимая во внимание всё то, что происходит в стенах высших учебных заведений, на улицах и площадях, вряд ли будет целесообразно принимать меры об изъятии из обращения названной брошюры, подобно тому, как это было сделано в 1900 г.

Я полагал бы ограничиться указанием цензору на неуместность разрешения, тем более, что изъятие из обращения—явление редкое и цензор должен был догадаться, что сочинение Мирбо «Жан и Мадлена» есть не что иное, как «Дурные пастыри» того же Мирбо»[16].

В третий раз цензура возвратилась к драме Мирбо еще три года спустя и на этот раз, наконец, изменила прежнее свое решение. 26 мая 1908 г. цензор В. Н. Албранд доносил:

«Проводимые в книге взгляды не новы, и если тяжелое положение пролетариата, представленное автором, и вызывает у читателя полное сочувствие, то, вместе с тем, у него не может не возникнуть чувства глубокого уважения перед благородным образом Харгана. Не усматривая, при современных условиях печати, данных к запрещению этой книги, полагал бы ее дозволить»[17].

Нечего и говорить, что во всех трех случаях литературные достоинства драмы О. Мирбо вовсе не принимались в расчет: лишь в одном месте встречается беглое упоминание об исполнении роли Мадлен Саррою Бернар, оброненное цензором, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть агитационную значимость этого образа на сцене. Зато тщательно подчеркиваются «революционность» пьесы и то значение, которое она может получить «в стенах высших учебных заведений», а также «на улицах и площадях». При этом пропагандирующее значение драмы в представлении цензуры совершенно точно соответствует различным моментам в развитии революционного движения в России:



ПОЛЬ ДЕ КОК
Шарж
Фарфор завода Миклашевского, 1850-е гг.
Исторический музей, Москва

если в 1900 г. цензор опасается, что пьеса может повредить «русской интеллигентной молодежи», «на горячие головы которых может повлиять идеализирование автором пролетариата», то в 1905 г. отмечаются такие наиболее действенные места пьесы, как стачка, забастовка, столкновение с войсками и др., а в 1908 г., при спаде революционной волны, наоборот, обращается внимание на то, что у читателя и у зрителя «не может не возникнуть чувства глубокого уважения перед благородным образом Харгана». В этом отношении приведенные три документа являются ярким доказательством ближайшей и теснейшей связи действий царской цензуры с общим направлением политики самодержавия, о чем говорилось выше.

Связь эта подчеркивается и ниже публикуемыми материалами, касающимися переводов из О. Мирбо. В первом документе речь идет о главе «Погромы» из романа Мирбо «628—Е8», помещенной в журнале «Вестник Иностранной Литературы» (1908, № 5). Цензор И. В. Головин нашел, что рассказ старого еврея «в мрачных и сгущенных красках описывает погромы» и, кроме того, представляет собой клевету на русское правительство и русское «воинство».

«Приведенный Мирбо рассказ старого еврея,—писал цензор,—освещен автором таким образом, что не оставляет сомнений в активном участии правительства в устройстве погромов и насилий над евреями, что дает основание инкриминировать перевод главы «Погромы» по пунктам В и Г статьи 5 отдела VIII временных правил о повременных изданиях 24 ноября 1905 г. Но, кроме того, в рассказе этом действия офицеров и солдат рисуются в таком ужасающем свете, что являются клеветой на представителей русской армии, которая не может не быть оскорбительной для нее. Ряд зверских насилий над беззащитными, над женщинами и детьми, участие в грабежах, опьянение кровью—всё это выставляет русское воинство в самом неприглядном и ложном свете»[18].

Полный и в достаточной степени исчерпывающий ассортимент тех же обвинений в кощунстве, богохульстве, в социалистических тенденциях и т. п. дают цензурные материалы об Анатоле Франсе. Непосредственным сопоставлением писателей, столь непохожих друг на друга (несмотря на общие черты, роднившие их в глазах цензурного ведомства), как О. Мирбо и А. Франс, мы имеем в виду подчеркнуть неоднократно выставлявшееся нами положение о сугубо формальном, в подавляющем большинстве случаев, подходе цензурных органов к рассмотрению литературных явлений—исключительно с точки зрения соответствия их или противоречия определенным охранительным параграфам цензурного устава, предписаниям и циркулярам начальства[19].

Еще в 1893 г., по докладу цензора Н. Г. Дукшта-Дукшинского, была запрещена «Харчевня королевы Гусиные лапки», как «представляющая собою... антирелигиозную болтовню», и запрещение это было подтверждено в 1907 г., т. е. даже после установления «свободы печати». Тогда же, т. е. в 1907 г., было подтверждено и запрещение «Мнений г. Жерома Куаньяра», о которых цензор А. Генц дал, в общем, положительную характеристику. «Книга Франса,—писал он,—заключает в себе... много неодобрительного, еще более парадоксов и нелепостей; однако, на мой личный взгляд, к запрещению ее достаточных оснований всё-таки не представлялось бы: встречающиеся в этом томе выходки против церковности хотя и заслуживают осуждения, чрезмерно дерзкими едва ли могут быть названы; с другой же стороны, антимилитаризм и социализм или анархизм встречаются во много более серьезных формах в произведениях печати, допущенных в настоящее время к обращению в публике».

Таким образом, уже первые значительные произведения А. Франса, попавшие в Россию, подверглись обвинениям в антирелигиозности, антимилитаризме и социализме или анархизме (цензура не считала нужным особенно тщательно разбираться в этих понятиях). Эти обвинения, в различных вариациях, проходят и через все дальнейшие цензурные документы. В 1904 г. русский перевод романа «Саламандра» подпадает под

действие статьи цензурного устава, предписывающего запрещать сочинения и переводы, «в которых находятся места, противные христианской нравственности, правительству и религии». «На белом камне» несколько раз подвергается цензурному рассмотрению, и даже в 1913 г. цензура констатирует в романе «кощунственные и богохульные мысли». Не говорим уже о сборнике политических статей «К лучшим временам» (Париж, 1906), который «не оставляет сомнений в необходимости строжайшего запрещения этой книги» из-за «дерзостей по адресу государя императора», восхваления деятельности русских революционеров и т. п.

Список цензурных запрещений произведений А. Франса заканчивается документом об «Острове пингвинов» и «Восстании ангелов». Первый роман (полный русский перевод его) подвергся судебному преследованию, так как Комитет иностранной цензуры нашел, что в нем «заключается хула на бога и святых и поношение святых таинств и святых мощей, т. е. признаки преступления, предусмотренного ст. 73 уголовного уложения». «Это сочинение,—писал комитет в своем докладе (15 мая 1909 г.),—составляет злобную насмешку над Францией («Пингвиния») в ее историческом прошлом и настоящем времени как в отношении государственного строя, так и общественной науки и культуры. Красной нитью через всё произведение проходит почти кощунственное глумление над христианством и специально над св. таинством крещения и причастия и над поклонением святым и мощам их». И та же ст. 73 уголовного уложения фигурирует в цензурном отзыве относительно романа «Восстание ангелов», который, по мнению цензора Н. А. Васенцовича-Макаревича, «в сущности, не роман, а фантастическое повествование о восстании ангелов против бога, уснащенное богословскими и философскими рассуждениями автора».

Единственным произведением А. Франса, заслужившим безусловное одобрение цензуры, несмотря даже на ряд мест, «в которых имя бога упоминается без всякого уважения», явился памфлетный роман из эпохи революции 1789 г. «Боги жаждут».

«Деятели революции, ее «боги»,—писал в своем докладе (20 июня 1912 г.) цензор А. А. Горяинов,—их якобинский образ мыслей, их действия, их политика—вплоть до мельчайших поступков и распоряжений—выведены автором в жалком виде. В талантливом изображении он убеждает читателя в ничтожестве этих «богов», жаждущих человеческой крови, окончательно одичавших, ограниченных и надутых, а главное—страдающих смертельным страхом и потому казнящих виновных и невинных, чтобы не быть казненными самим. Он же указывает на необъятное воровство и темные проделки с имуществом казненных дворян этих строгих, неподкупных республиканцев, впоследствии покорных придворных Наполеона и последующих королей». Цензорские похвалы, подчеркивания того, что книга написана «искренно» и «могла бы быть только полезна», свидетельствуют об умении царской цензуры использовать, там где это было можно, художественное произведение в агитационных целях, в качестве идеологического оружия в борьбе с революцией.

Следует, наконец, остановиться на цензурных материалах, касающихся творчества Г. де Мопассана, популярность которого в России установилась тотчас же после первых его литературных дебютов, отчасти благодаря усиленным и неоднократным рекомендациям Тургенева. «В 1880 г. для журнала «Слово»,—рассказывает в своих воспоминаниях И. И. Ясинский,—из Парижа, по рекомендации Тургенева, были присланы нам рассказы двух дебютирующих авторов—Алексиса и Мопассана. В особом письме Мопассан просил, чтобы рассказ «Boule de Suif» был посвящен одному из редакторов „Слова“»[20]. Это интересное сообщение страдает одним существенным недостатком: самые тщательные поиски не могли обнаружить в «Слове» каких-либо следов рассказа Мопассана; очевидно, какие-то причины помешали его напечатанию, о чем мемуарист впоследствии забыл. Однако, самый факт рекомендации Тургенева очень правдоподобен и вряд ли может вызвать какие-нибудь сомнения. 9 марта 1881 г. он рекомендует Мо-

РОНСЕВАЛЬСКАЯ БИТВА И КАЗНЬ ГАНЕЛОНА

Миниатюра Симона Мармиона (?) из рукописи „Grandes Chroniques de France", 1455—1457 гг.

Публичная библиотека, Ленинград

рассказов в каждом,—следовательно, цена каждого выпуска не превысит 5—10 копеек. В двух выпусках (шесть рассказов) рисуются ужасы войны. В остальных осмеивается духовенство, оплакивается судьба незаконнорожденных, описывается человеческое жестокосердие и проч. В общем—никакой здоровой пищи для народного ума. По этим соображениям и применяясь к циркуляру Главного управления по делам печати, полагал бы настоящее издание к печати не дозволять».

Петербургский комитет по делам печати и на этот раз вынес пространное решение, но уже совсем противоположного характера, найдя, что «произведения Гюи де Мопассана совсем не удовлетворяют требованиям подцензурной печати и лишены тех достоинств, которые цензура должна требовать от изданий дешевых, идущих в простую публику, в народ. Произведения Мопассана вообще эротичны и почти всегда заключают в себе, в большей или меньшей степени, протест противу неравенства социального быта людей. Хотя все произведения и писаны для французского общества, но такие идеи, такие мысли общи и могут быть применимы и к быту русского люда»[25].

Собранные в настоящем очерке новые материалы не дают особенно ярких примеров отношения цензуры к французскому реализму в целом и его крупнейшим представителям. Однако, интересующие нас общие тенденции цензурного ведомства и в данном случае выступают с достаточной определенностью.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1829 г., № 248.

[2] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1831 г. 5 ноября. Главн. управл. цензуры, 1831 г., №№ 391 и 236. Ср. [В. В. Стасов], Цензура в царствование императора Николая I.—«Русская Старина», 1903, № 2, стр. 327.

[3] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1832 г., № 824.

[4] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1836 г., № 147.

[5] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1849 г., № 1133. На франц. языке.

[6] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты цензурных комитетов одесского, виленского и рижских цензоров за 1853 г., № 1206. Первый том в свое время был пропущен беспрепятственно.

[7] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1852 г., № 981.

[8] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1853 г., № 1991.

[9] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского цензурного комитета за 1853 г., № 1981. На франц. языке.

[10] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты Варшавского цензурного комитета за 1855 г., № 85. На франц. языке.

[11] СПб. к-т ценз. иностр., журналы заседаний за 1857 г. 19 июня 1857 г.

[12] Главное управл. по делам печати, 1879 г., д. № 32/161, лл. 21—28.

[13] СПб. ценз. к-т, д. № 105, лл. 23—25.

[14] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 9874.

[15] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1900 г.

[16] Главн. управл. по делам печати, III отд., 1900 г., д. № 45, лл. 24—25.

[17] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1908 г., № 4251.

[18] СПб. к-т по делам печати, 1906 г., д. № 431, лл. 10—12. Пункты законов, на которые ссылался цензор, устанавливали наказание за распространение через печать сведений, возбуждающих враждебное отношение к правительственному учреждению, должностному лицу, войску или воинской части, за распространение ложных слухов относительно правительственного распоряжения или общественного бедствия, за оскорбление в печати войск или воинских частей.

[19] Приводимые ниже цитаты заимствованы из публикации Л. Полянской, Анатоль Франс и царская цензура.—«Красный Архив», т. LXVII, 1934, стр. 147—167.

[20] Иер. Ясинский, Роман моей жизни. Книга воспоминаний, Л. 1926, стр. 150.

[21] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, СПб. 1912, стр. 193.

[22] Там же, стр. 218; см. также стр. 221, 222, 224, 225.

[23] С. Андреевский, Литературные очерки, СПб. 1902, стр. 329.

[24] СПб. ценз. к-т, 1894 г., д. № 65, лл. 5—8.

[25] СПб. ценз. к-т, 1897, д. № 71, л. 4.

VII. Э. ЗОЛЯ

Известность Э. Золя в России и широкая его популярность пришли уже в то время, когда для французских читателей он являлся вполне сложившимся писателем, с четкой творческой индивидуальностью. В 1872 г., после появления первых томов «Ругон-Маккаров», автор обзора текущей журналистики в «СПБ. Ведомостях» жаловался на то, что «Э. Золя для русской публики писатель совершенно новый: до сих пор, как кажется, ни в одном из наших журналов не появлялось ни статей о нем, ни переводов его вещей, хотя он получил некоторую известность во Франции около десяти лет тому назад»[1]. Зато в течение нескольких последующих лет Золя сделался одним из любимейших, одним из наиболее читаемых авторов в России, и его популярность у нас в семидесятых годах была бóльшая, чем во Франции. Как говорит современный исследователь, «десятимесячного срока, протекшего со времени появления первых строк Золя в русском переводе в «Вестнике Европы» до начала печатания «Парижского брюха» в майской книжке «Дела» [1873 г.], было достаточно для утверждения его, как наиболее популярного и авторитетного иностранного писателя в известном круге русских читателей»[2]. Этот круг, с течением времени, видоизменял свои размеры и очертания, по-разному подходя, различно воспринимая и используя творчество французского писателя. Как говорит тот же исследователь, «только в начале семидесятых годов его произведения были восприняты с одинаковым интересом всеми крупнейшими группировками читателей. В дальнейшие годы его аудитория изменилась, а произведения его приобрели у нас иную социальную функцию, что стояло, с одной стороны, в связи с эволюцией его творчества, а с другой стороны, вызывалось изменениями в общественной психологии различных классовых группировок русских читателей, сопровождавшими быстрый экономический рост и обострение классовой борьбы в России в последней трети XIX в.»[3].

В понимании реакционной дворянской критики первые томы «Ругон-Маккаров» изобличали «несостоятельность революционной партии», неспособность ее «привлечь к себе общественное доверие». Поэтому произведения Э. Золя казалось возможным использовать в борьбе с русской революционной демократией. В свою очередь, публицистика революционно-демократического лагеря находила в романах Э. Золя сатирическое воспроизведение социальных отношений высокоразвитого буржуазного общества, воспроизведение, убеждавшее в хищнической, эксплоататорской природе капитализма и толкавшее на путь революционной борьбы с ним. С течением времени эта вторая *трактовка находила себе все бóльшее оправдание и подтверждение в самом творчестве* Золя, противоречивом в самой своей сущности, но, тем не менее, явно проникнутом антибуржуазными, демократическими тенденциями, и, наоборот, читатель — дворянин и буржуа всё более разочаровывался в Золя, как «своем» художнике, и если признавал его, то исключительно, как занимательного рассказчика, решительно отвергая всё, что принималось им, как «социалистические мудрствования». В этом отношении ему на помощь приходила цензура: вытягивая в одну линию цензурные отзывы о Золя, легко заметить, как обычные, трафаретные обвинения в безнравственности, в изобилии «сладострастных подробностей» сменяются более серьезными указаниями на социальную сторону произведений Золя, на опасность их с точки зрения «потрясения основ».

Первое знакомство цензуры с произведениями Золя, как сказано, шло по линии обвинения их в безнравственности и неблагопристойности, обвинения обычного по отношению к французским книгам. Еще в 1868 г. был запрещен роман «Thérèse Raquin», так как цензор нашел, что «le roman est rempli des descriptions tantôt voluptueuses, tantôt inspirant du dégout»[4]. В 1874 г. комитетом министров, по представлению Главного управления по делам печати, был запрещен и подвергнут уничтожению перевод романа «La curée» («Подачка собакам»). По мнению цензуры, роман

этот мог произвести на неопытных читателей «самое развращающее влияние... по возмутительности содержания, по неблагопристойности многих подробностей, по сладострастности эпизодов»[5]. В том же 1874 г. Московский цензурный комитет задержал перевод романа «Завоевание Плассана», признав, что «как по самой завязке своей, в основании безнравственной, так и по подробностям, не лишенным цинизма и кощунства, роман не может не быть признан вредным». Однако, совет Главного управления нашел на этот раз такую оценку преувеличенной и разрешил выпуск книги[6].

Запрещение «Nana» (1880) было мотивировано, кроме безнравственности романа, также непочтительными упоминаниями в нем о «коронованных особах». «В своем новом романе,—писал цензор Любовников,—известный автор-реалист в героине своей рисует женщину, аристократическую кокотку, предающуюся самому отвратительному разврату во всевозможных его проявлениях. Вся книга состоит из непрерывного ряда цинических сцен, так сказать, постепенно усиливающихся... В романе, между прочим, действующим лицом открыто является принц Уэльский, а на банкете у Нана известные кокотки беседуют о доступности для них коронованных особ, ожидавшихся на всемирной выставке 1867 года»[7].

Наконец, в 1887 г. было запрещено французское издание романа «La Terre», в связи с наличием в нем мест, «в которых автор в цинических выражениях описывает разврат действующих лиц». Лишь в 1906 г. роман был допущен к ввозу, ввиду «устарелости», незначительного спроса и появления перевода на русский язык[8].

Начиная с восьмидесятых годов, цензура всё чаще отмечала в произведениях французского писателя мотивы социального протеста, звучавшие на таком материале и в таком тоне, который не мог не вызывать классово-враждебной ему царской цензуры на самые резкие выводы и заключения. Впервые эти выводы и заключения прозвучали в докладе цензора П. И. Фридберга Главному управлению по делам печати о драме Ф. В. Кугушева «Парижские рабочие» (1880), переделанной из романа Золя «L'Assommoir». В своем отзыве цензор, естественно, говорил не столько о ремесленном и весьма низкопробном изделии Кугушева, сколько о творчестве Золя, о намечавшихся в нем тенденциях и о том романе, который послужил материалом для пьесы.

«Г-н Зола,—писал цензор,—как известно, принадлежит к числу популярных романистов нашего времени, но, к сожалению, талантливые произведения его в совокупности проникнуты реализмом, доходящим до крайних пределов. Фотографические снимки его с природы раболепно верны, колорит блестящий, но выбор и разработка сюжетов далеко не художественные; он воспроизводит одни лишь внешние красоты чувственной природы или же самые потрясающие явления ее, так что он постоянно впадает в крайности и этим нарушает основные начала эстетической гармонии и равновесия. Ему нужны, как орудия,—впечатления, потрясающие весь организм,—сцены разврата во всей его наготе, доходящие до возмутительных преступлений, изображения грязнейшей среды общественных подонков со всеми уродливыми проявлениями разнузданных страстей, для отрезвления, будто бы, низших слоев общества и возбуждения в них неотразимого отвращения ко всему порочному и безнравственному. Но такое грубое вскрытие социальных язв не может ли превратиться в обоюдоострое оружие? Такое воплощение всего порочного, грязного, отвратительного не приучит ли низшие классы народа и вообще полуобразованные сословия взирать равнодушно на цинические воспроизведения чувственных страстей? Не оскорбится ли этим общественная совесть и прирожденное ей чувство нравственного приличия? Переносимые на сцену подобные картины не подействуют ли еще разрушительнее? На все эти вопросы можно смело отвечать утвердительно. В связи с этими соображениями небезынтересным является вывод, сделанный во Франции тому лет пятнадцать, а именно, что со времени основания издания «Gazette des Tribunaux» уголовная статистика цифрами доказывала, что количество преступлений, совершаемых во Франции, прогрессивно увели-

чивалось из года в год. Не возводя приведенное заключение в непреложный факт, тем не менее, нельзя не придавать ему известного значения. До сего времени вопрос этот остается открытым, но уже нередко он всплывал и вызвал, между прочим, следующий афоризм, высказанный известным ученым философом Тэном: «La grande publicité donnée aux procédures criminelles ne se présente-t-elle pas dans certaines circonstances comme une école pratique sui generis du crime».

Вышеназванная переделка рассказа «L'Assommoir» представляет собою именно те неудобства, на которые в общих чертах указано выше, а именно—такую обстановку, которая оскорбляет чувство приличия и даже общественное благочиние, изображения грубейших нравов низшей среды, приправленные бесчинствами, ругательствами, пьянством, дракою, буйством и местами возмутительным цинизмом в речах. Между тем, нельзя не признать за этой драмой некоторых достоинств; так, основная фабула вполне одобрительного содержания, две-три личности являются в весьма благоприятном свете, но, к сожалению, внешняя оболочка и обстановка немыслимы для сцены.

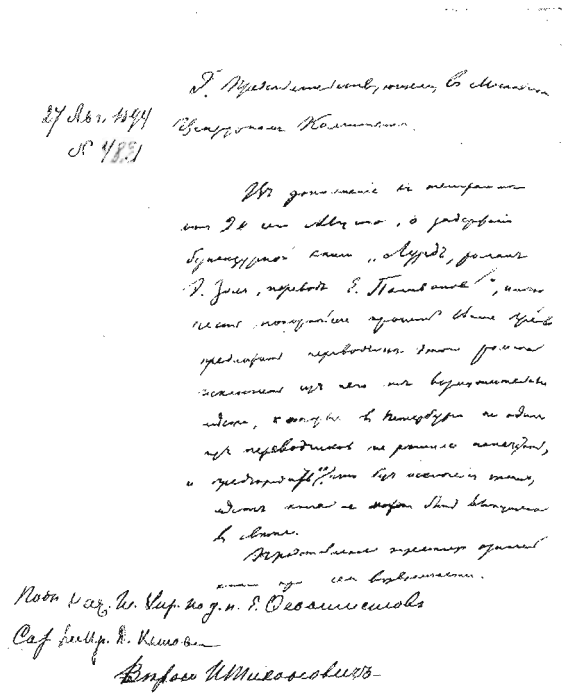
На высказанных основаниях цензор полагал бы признать означенную пьесу подлежащею запрещению»[9].

Несколько лет спустя, по выходе другого романа Золя из жизни рабочих, «Germinal», разрешенного цензурой к обращению в подлиннике, на него обратил внимание известный «деятель» церковно-приходских школ, С. А. Рачинский, указавший в письме к К. П. Победоносцеву, что «эта книга заслуживает внимания. Перевод ее на русский язык нужно, безусловно, запретить». «Знаете ли вы,—писал дальше Рачинский,—что романы Золя переводятся наперерыв нашими толстыми журналами и с жадностью читаются сельским духовенством и фабричным людом? «Germinal», быть может, лучшее, что написал Золя. Это история стачки, совершенно сходная с теми, которые на наших глазах разыгрываются на наших фабриках. Написано это грязью и кровью и пропитано убеждением в близости и законности всемирной социальной революции.—Герой—русский нигилист, в коем не трудно узнать [Л. Н.] Гартмана. Перевод ни с какими пропусками не м[ожет] б[ыть] допущен. Оригинал безвреден—франц[узский] язык у нас вымирает. Не удивляйтесь этому предостережению. Ведь была же «Nana» запрещена в подлиннике и разрешена в переводе». Пересылая выписку из этого письма начальнику Главного управления по делам печати, Е. М. Феоктистову, Победоносцев призывал его к бдительности: «Caveant consules. Действительно, надлежало бы, кажется, употребить все меры, чтобы «Germinal» не являлся в русском переводе»[10]. Предупреждение это, однако, запоздало, так как роман Золя уже печатался в «Наблюдателе» и даже обращал на себя внимание цензуры. Так, в марте 1885 г. Петербургский цензурный комитет в донесении Главному управлению по делам печати отмечал в мартовской книжке журнала, между прочим, следующее:

«В романе Золя «Жерминаль» картины распущенной жизни женщин на фабрике... сменяются рассуждениями о братстве, равенстве и одинаковом доступе к пользованию земными благами... Стремления, характеризующие анархистов, ясно высказаны на стр. 124: «Для начала взорвать на воздух вот эту тюрьму, в которой вы все изнываете», и эти слова принадлежат русскому, по фамилии Суварину. В подлиннике прямо говорится, что это русский нигилист. Он подстрекал поджечь строение Ворё.— На стр. 158 один из героев романа, республиканец Негрель, говорит: «Вы ничего не делаете и живете чужим трудом. Наконец, вы представитель позорного капитала, и этого для них вполне достаточно... Поверьте, если революция восторжествует, то она отберет ваши деньги, как краденые». На стр. 112: «Как! рабочий даже не смеет рассуждать!.. Потому-то богатые, которые теперь властвуют и могли занять свое положение, могли продавать и покупать рабочего и жиреть от его мяса, а он даже и не догадывался об этом»[11].

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ОТ 27 АВГУСТА 1894 г. ОБ ИЗЪЯТИИ „ВОЗМУТИТЕЛЬНЫХ МЕСТ" ИЗ ПЕРЕВОДА ПОЛИВАНОВОЙ РОМАНА ЗОЛЯ „ЛУРД"

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)



Печатание этого «крайне демократического» романа, кстати сказать, послужило косвенной причиной объявленного вскоре (19 мая 1885 г.) «Наблюдателю» второго предостережения. Произведенные редакцией сокращения были признаны совершенно недостаточными, и помещение романа в полном объеме квалифицировалось цензурой, как неисполнение ее директив[12]. В самом «предостережении» о «Жерминале», правда, не говорилось, но в составленном по этому поводу «всеподданнейшем докладе» упоминалось, среди других прегрешений журнала, что в нем «помещается, несмотря на сделанное редактору предупреждение, перевод крайне демократического по содержанию романа Золя „Жерминаль"»; в черновике же доклада после этого следовало еще выпущенное затем окончание фразы: «[почти в полном объеме, с самыми несущественными изменениями в сравнении с подлинником]»[13].

В 1895 г. обратил на себя внимание вышедший отдельным изданием перевод рассказа Э. Золя «Безработица». В докладе своем Петербургскому цензурному комитету цензор С. И. Коссович писал: «В этом крохотном произведеньице описывается безвыходное положение рабочих с семьями во время приостановки работы на фабрике. Голодные труженики скитаются, подобно теням, по городу, ищут заработка, а их гонят отовсюду. Сытая буржуазия ест, пьет и веселится, они же мрут с голода. Дома их встречает отчаянный крик ничего не евших ребят и жалостно-укоризненный взор жен.

Принимая во внимание, что рассказ, несомненно, предназначается для распространения среди народа, цензор полагает... рассказ «Безработица» запретить»[14].

Большой интерес представляет пространное заключение цензора М. В. Никольского (1901 г.) по представлению Московского и Петербургского цензурных комитетов, признавших особо вредным и подлежащим безусловному запрещению роман Э. Золя «Труд». В отличие от обычных цензорских характеристик, не вдающихся глубоко в сущность рассматриваемых вопросов, Никольский попытался уяснить именно самое существо пресловутого «социализма» Золя и пришел к правильному, с точки зрения охранительной критики, выводу, что «социализм» этот является меньшим злом по

сравнению с марксизмом, который единственно только и является социализмом вредным и опасным, как учение, направленное к насильственному уничтожению и радикальному преобразованию современного общественного строя. Доклад Никольского, обстоятельный и умный, любопытен именно этим, по-своему серьезным, анализом цензуруемых произведений, попыткой разобраться в той массе материала, которая обычно огулом зачислялась в разряд «вредных» и «социалистических» сочинений и которая, естественно, должна была вызвать (хотя почти не вызывала практически) попытки как-то осмыслить ее, выделить наиболее «вредное» и подлежащее запрещению и истреблению. Не следует ведь забывать, что в это время, в 1901 г., царское правительство и его органы не только научились не пугаться слова «социализм», но и нащупывали уже практическую возможность приспособить его даже к жандармско-розыскным целям: как раз в эти годы оформлялась «идейно» и организационно зубатовщина.

Ввиду существенного интереса, вызываемого заключением М. В. Никольского, приводим его полностью:

«Мною рассмотрен новый роман Э. Золя «Труд» в пяти различных переводах, представленных в отпечатанном виде в качестве бесцензурных изданий в Московский и С.-Петербургский цензурные комитеты, а именно: издания О. Н. Поповой и книжного магазина «Новости» в С.-Петербурге и издания Клюкина, Ефимова и Ненашева в Москве. Издания Поповой, «Новостей», Клюкина и Ненашева признаны комитетом подлежащими действию ст. 149 устава о цензуре и печати, а издание Ефимова обращено Московским цензурным комитетом из бесцензурного в подцензурное и, по рассмотрении, признано подлежащим запрещению на основании ст. 94 и ст. 95 устава о цензуре и печати [15].

Все пять изданий, по распоряжению г. министра внутренних дел, задержаны выходом в свет [16].

Роман Золя «Труд» написан, несомненно, в социалистическом духе. Автор представляет яркую картину социального зла в настоящем и план будущей реорганизации общества на новых началах в духе социализма. Подчеркивая этот социалистический характер книги и громкое имя автора, как одного из талантливых современных романистов, комитеты признают все издания этой книги, ими рассмотренные, подлежащими запрещению ввиду ожидаемого от них особого вреда. В основе всех заключений комитетов лежит, повидимому, мысль, что социалистические взгляды и социалистические мечтания, каковы бы они ни были, должны быть признаны за особо вредные и содержащие их сочинения подлежащими безусловному запрещению, благодаря чему комитеты не сочли нужным войти в особое рассмотрение того вида социализма, который проводится автором романа, его отношения к господствующему или боевому социализму и, тем самым, точнее определить степень его вреда. Само собою понятно, что не всякое сочинение в социалистическом духе, как таковое, необходимо должно быть сочтено за особо вредное, а лишь такое, которое содержит учение, прямо или косвенно направленное к насильственному уничтожению существующего социального строя. Сочинения, содержащие теории отжившие, составляющие достояние истории, сочинения морального характера на социалистической подкладке, сочинения, носящие утопический характер, наконец, строго научные, доступные только социалистам,— все подобные сочинения допустимы к обращению в публике, и таких сочинений не мало имеется в нашей литературе. Даже популярные сочинения в социалистическом духе не все одинакового свойства: безусловно вредными могут быть названы только те, которые носят яркую печать современных идей и тенденций социал-демократии и направлены к тому, чтобы посредством их общество всё более доставляло приверженцев социал-демократии на борьбу с современным социальным строем. Мне кажется, можно сказать решительно, что вредный и опасный социализм в нынешнее время имеет один

определенный характер и подлежит вполне осязательному диагнозу,—это марксизм, и притом не столько в теории, сколько, как основа социал-демократического движения на практике; всё, что направлено к пропаганде последнего, носит явно вредный характер; всё же, что уклоняется в сторону от этого господствующего течения, а тем более то, что до некоторой степени идет с ним вразрез, не должно вызывать со стороны цензуры одинаково строгого к себе отношения.

В рассматриваемом сочинении автор вполне ясно и определенно обозначает свое отношение к современным фракциям социализма. Признавая за всеми учениями современного и древнего социализма и коммунизма одну общую черту,—это одушевляющую творцов этих учений любовь к человечеству в его целом, заботу о всеобщем счастии, он, тем не менее, осуждает все эти учения за неразборчивость или неправильное понимание средств к достижению общего счастия. Он осуждает более всего анархизм и коллективизм, как самые крайние фракции современного социализма. Можно было бы ожидать, что автор, судя по началу романа, проявит себя ревностным последователем современной социал-демократии и на ее началах построит будущий план реформы. Но этого, однако же, не случилось. Напротив, всего более поражает читателя, привыкшего вращаться в области социальных идей настоящего времени, то, что автор совсем игнорирует современное господствующее социалистическое направление в форме ходячего марксизма и широко раскинувшей свои сети социал-демократии. Современная жизненная форма социализма, те идеи, которыми заняты идеологи и пропагандисты социализма, те опасные движения в рабочем классе, которые вызваны пропагандою этих идей, вся эта эволюция, переживаемая нынешнею социальною мыслию и социальными отношениями, как будто прошла мимо глаз автора настолько, что он не обмолвился ни одним словом или намеком на те проблемы, которые поставлены современной мысли и жизни вожаками нынешнего социального движения. Вместо этого автор обращается к давно минувшему времени и останавливается на почти забытом учении Фурье, которое и полагает в основу изображаемого им будущего социального строя. Правда, идеи Фурье в сороковых годах волновали нашу молодежь, но в настоящее время, в эпоху торжества марксизма, они имеют исключительно исторический интерес. Воскрешая утопию Фурье, автор, устами его героя, признается, что он не разделяет всех идей этого социального мыслителя и не имеет целью изобразить осуществление всего его плана организации будущего человечества, а берет у него только одну идею солидарности, как моральную основу будущего социального строя. Будущее общество должно осуществить идеал полной солидарности и представить из себя ассоциацию капитала, таланта и труда. По мнению автора, как оно выразилось в художественно изображенных им лицах и событиях, свободная ассоциация этих трех сил современного социального строя, на почве существующего порядка, мирным путем поведет к водворению того общего равенства и счастия, какое преподносится в мечтах всех последователей социальных и социалистических учений, начиная от самых умеренных и кончая самыми крайними.

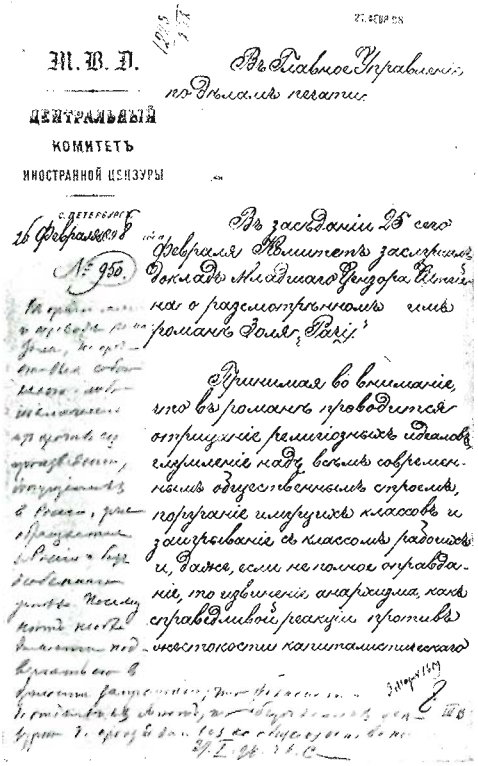
Ясно обозначенное отношение автора к современным и прежним социалистическим учениям в значительной степени ослабляет вредный характер книги, как проникнутой духом социализма. Автор не только не защитник современных социал-демократических тенденций, но он даже их игнорирует; только анархизм и коллективизм имеют в романе своих представителей—первый в лице Ланжа, второй в лице Боннера, но, в конце концов, тот и другой отреклись от своих крайних учений. Вместо того, чтобы считаться с «железным» законом, открытым Марксом, и изобразить необходимую, по мнению его и его последователей, катастрофу, в которой найдет свой конец нынешний капиталистический строй, автор изображает идиллию полного социального равновесия и полного удовлетворения и примирения всех считающихся непримиримыми противоречий, благодаря только тому, что люди захотели быть солидарными, работать сов-

местно и на равных правах. Самое начало ассоциации, положенное в основу будущего строя в романе, нельзя назвать в строгом смысле социалистическим, так как оно предполагает и частную собственность и наемный труд и дозволительно и осуществимо при существующих социальных условиях. Форма этой социальной организации в существенных чертах существует и у нас в виде нашей русской исконной артели, но с тем различием, что автор дает ей, благодаря фантазии, грандиозный объем и небывалое развитие. Строя на таких началах будущее человечество, автор идет открыто против существующей формы социализма и против той боевой силы, которая объявила войну современному строю. Для чего, спрашивается, рабочему классу всё более и более обособляться, всё более развивать свою силу в борьбе с капиталом, когда стоит только ему слиться с ним воедино, в одну ассоциацию, чтобы тотчас же и наступило ожидаемое царство всеобщего равенства и солидарности? Зачем потоки крови и ужасы террора, как этого хотят анархисты, когда та же цель достижима скорее и вернее добровольным союзом людей на началах взаимной помощи? Вот мораль романа, и, как мне кажется, эту мораль нельзя назвать особенно вредною.

За всем тем остается всё-таки общая социалистическая тенденция у автора, так как он, в конце концов, предвидит момент, когда созданная его фантазией организация приведет к тому, что сама собою перестанет существовать частная собственность и наемный труд, когда настанет полная общность в труде, в его продуктах и вместе с этим осуществится, как результат всеобщей эволюции, тот идеал счастия, какой более или менее общ всем социалистическим учениям. В этом будущем строе окажутся излишними и сами собою перестанут существовать и государственная власть, и церковь, и вообще всякая власть, так как всё это нужно было только для защиты нынешнего социального строя. Было бы странно видеть в этом что-либо похожее на апологию анархизма, как противогосударственного учения,—это просто утопия, осуществление которой отнесено к отдаленному будущему; автор не берется даже изображать его, а ограничивается только голыми фразами. Нужно заметить при этом, что его выходки против государства и церкви плохо вяжутся с общей идеей и ходом рассказа, висят на воздухе и, как проходящие ноты, не производят впечатления на читателя, они легко устранимы без вреда для целого. Существенным и неустранимым можно признать только представляемую автором картину социального беспорядка и несправедливости в существующем строе; здесь автор является художником-реалистом и пускает в ход свое обычное мастерство. Но уже то соображение, что в результате всего этого нет ни революции, ни вообще каких-либо насильственных переворотов, заставляет примириться с этими картинами, как не направленными к возбуждению дурных страстей рабочего класса. Если сопоставить с этим общераспространенное учение современных социал-демократов, что переход от нынешнего капиталистического строя к будущему коммунистическому должен сопровождаться катастрофами, причем рабочие насильственным путем экспроприируют капиталистов, формула Золя, диаметрально противоположная этому учению, должна показаться адептам последнего до наивности утопическою.

Трудно думать, чтобы подобные утопии, рассчитанные притом на возбуждение моральных чувств, а не классовых вожделений, могли принести серьезный вред, если даже согласиться с тем, что они имеют некоторую долю убедительности для массы публики, в чем я сильно сомневаюсь. В нашей литературе есть сочинения подобного рода, так, например, я укажу на роман Беллами «Через сто лет», выдержавший уже 4 издания. Утопия этого романа основана на чисто марксистском мировоззрении и есть художественное изображение будущего осуществления предсказываемой Марксом и его последователями экспроприации собственников концентрированного капитала, но ничто не говорит за то, чтобы этот роман сыграл бы хотя малейшую роль в деле пропаганды социал-демократических идей, хотя он обнаруживает бо́льшее родство с современным социалистическим миросозерцанием, чем роман Золя. Да и с настоящим романом рус-

ская публика уже в достаточной степени ознакомилась по многочисленным переводам его, хотя и не доведенным до конца, в периодических изданиях, и я вполне разделяю отдельное мнение цензора С.-Петербургского цензурного комитета Соколова, что в настоящее время было бы бесцельно запрещать этот роман отдельным изданием, тем более, что печатание его в периодических изданиях не привлекло к нему внимания читающей публики. Нет сомнения, что одновременное запрещение пяти изданий этого романа в С.-Петербурге и Москве и прекращение продолжения его в периодических изданиях повлечет за собою сокращение производительности издательских фирм, так



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИНОСТРАННОЙ ЦЕНЗУРЫ В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1898 г. С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАПРЕТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОМАНА ЗОЛЯ „ПАРИЖ"

Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА)

как очевидно, что все издатели считали новый роман Золя интересною и невинною новинкою и не могли ожидать, чтобы, по условиям нашей печати, это сочинение могло подвергнуться безусловному запрещению. Критерий дозволенного и недозволенного в бесцензурном порядке, таким образом, утрачивается, и издательский рынок, чувствуя гнет, незаметно будет передавать чувство недовольства и неудовлетворения читающей публике. Идеи Золя давно уже всем известны; публика, ценя его талант, как беллетриста, вовсе не считает его авторитетом или вождем, за которым она следует. Социалистические и антихристианские идеи автора гораздо ярче выражены в предшествующих романах, как Лурд, Рим и Париж[17], между тем, можно смело сказать, что мировоззрение современной молодежи менее всего находится в зависимости от такого писателя, как Золя. У нас его значение едва ли превышает значение, например, Бобо-

рыкина и уже ни в каком случае не может итти в сравнение с значением Льва Толстого. Систематическое или слишком явное преследование сочинений Золя только в состоянии будет поднять значение этого писателя и создать из него незаслуженный авторитет для нашей незрелой молодежи: его дозволенные прежде сочинения будут перечитываться с новым интересом.

Всё вышеизложенное располагает меня к мысли о возможности более снисходительного отношения к роману Золя «Труд», тем более, что переводчики и издатели, несомненно, считались с цензурными условиями и облегчили сами задачу цензуры. Только одно издание Клюкина воспроизводит роман в русском переводе без исключений, в изданиях же Ефимова и Поповой сделаны значительные урезки более ярких мест, дающих книге социалистическую окраску. Я находил бы весьма желательным, чтобы исключения в издании Ефимова, например, рассказов о катастрофах в конце книги, были распространены и на издание Поповой, равно как исключения в издании Поповой распространены на издание Ефимова, как, например, рассуждения анархиста Ланжа и картина разрушения церкви вместе с последним священником. Само собою понятно, что исключения в обоих изданиях обязательно должны быть распространены и на издание Клюкина. Благодаря этим урезкам характер романа в русском переводе значительно изменится к лучшему в смысле цензурности, и притом одинаково во всех трех изданиях»[18].

Упомянем еще о запрещении изданных без предварительной цензуры переводов романа «Истина» (СПб. 1903, изд. О. Н. Поповой, и М., 1903, изд. Клюкина). Цензор, рассматривавший второй, московский, перевод романа, отметил, что в нем автор «отрицает церковь и ее учение и обряды в деле воспитания и в жизни, приписывает религии развращающее влияние и проповедует вообще свободную жизнь без всякой религии». В представлении же Петербургского цензурного комитета «сочинение это обрисовывается вредным и вследствие его социалистического направления. Читаем, например, такие положения: «Скопляемые богатства развращают и губят все, что с ними соприкасается» (стр. 81). «Рабочий—это жертва заработной платы» (стр. 51). «Буржуазия пользуется всякого рода средствами и весьма часто религиею, чтобы удержать свою добычу: армия явилась воплощением грубой силы, которая своими штыками охраняла покой сытых» (стр. 198). Такими сентенциями настолько же переполнен роман, насколько проникнут антирелигиозною проповедью, и он, таким образом, является вредным и с религиозной и с социалистической стороны». На основании этих отзывов оба перевода были запрещены и уничтожены, по постановлению комитета министров[19]. Лишь два года спустя этот роман Золя, под названием «Правда» (М., 1905, изд. И. Сытина), был разрешен; почти одновременно было допущено к распространению и французское издание романа (в 1906 г.), ранее также подвергшееся запрещению[20].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «С.-Петербургские Ведомости», 1872, № 219.

[2] М. К. Клеман, Начальный успех Золя в России—в его книге «Эмиль Золя, сборник статей», Л. 1934, стр. 191.

[3] Там же, стр. 260—261.

[4] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1868 г., № 1503.

[5] Главн. управ. по делам печати, II отд., 1874 г., д. № 67.

[6] Главн. управ. по делам печати, журнал заседаний совета за 1874 г., № 34, л. 1.

[7] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1880 г., № 1816. В 1881 г. не была разрешена переделка романа в драму (перевод с французского Ярона), так как «пьеса полна соблазна, обставленного художественной оболочкой». В 1906 г. роман был разрешен в подлиннике, так как еще в 1899 г. внутренняя цензура пропустила перевод его на русский язык с сохранением всех основных мест, послуживших причиной запрещения французского издания (Главн. управ. по делам печати, журналы заседаний

совета за 1881 г., № 45, п. 2; Центр. к-т. ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 6916). Впрочем, должен существовать и более ранний перевод «Нана» (быть может, неполный), на который ссылался С. А. Рачинский в письме к К. П. Победоносцеву, см. ниже, прим. 10-е.

[8] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1887 г., № 8288; 1906 г., № 6982.

[9] Совет Главного управления по делам печати и министр внутренних дел Л. С. Маков согласились с мнением цензора, и драма была запрещена к представлению (журналы заседаний Главн. управ. по делам печати за 1880 г., № 2, п. 3). Следует заметить, что французское издание романа «L'Assommoir» было разрешено в 1876 г., французская же переделка его в драму («L'Assommoir, drame en 5 actes avec une préface d'E. Zola») в 1881 г. подверглась запрещению по тем же мотивам, что и русская переделка «Парижские рабочие». Однако, другая русская переделка—Ярона, под названием «Западня», предназначенная для народных театров, в том же 1881 г. была, с исключением нескольких мест, пропущена цензурой (Главн. управ. по делам печати, журналы заседаний за 1881 г., № 48, п. 5).

[10] См. нашу публикацию «Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову» («Литературное Наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 518—519).

[11] Главн. управ. по делам печати, 1885 г., д. № 42, л. 80 об.—81, ср. также л. 83.

[12] Журналы заседаний Главн. управ. по делам печати за 1885 г., № 5.

[13] Главн. управ. по делам печати, 1881 г., д. № 42, л. 87 об.—89 об. Чтобы исчерпать материал, отметим, что в 1908 г. цензурой был наложен арест на вышедшую в Симбирске переделку «Жерминаля», под названием «Труд и капитал». «Книга,—писал председатель Казанского комитета по делам печати прокурору судебной палаты,—в художественно-беллетристической форме трактует об отношениях труда и капитала с освещением этого вопроса с точки зрения социалистических учений». Суд, однако, не нашел в книге признаков преступления и арест отменил (Главн. управ. по делам печати, III отд., 1908 г., д. № 240).

[14] С.-Петербургский цензурный комитет, собрание рукописей, № 1341. 113-я статья цензурного устава предписывала руководствоваться особыми инструкциями при рассмотрении произведений, касающихся ведомств военного, судебного, финансового и министерства внутренних дел. Особой инструкцией, относящейся к ведомству этого министерства, требовалось, между прочим, не разрешать никаких статей и рассуждений, «которые могли бы возбуждать неудовольствие и раздражение одного сословия против другого». Под «последним» циркуляром имеется в виду циркуляр от 8 мая 1895 г., № 2799, устанавливавший особо строгую цензуру для народных изданий. В 1898 г. рассказ «Безработица» был запрещен также в издании О. Н. Поповой (СПб. ценз. к-т, 1898 г., д. № 184).

[15] 149-й статьей был установлен порядок запрещения и уничтожения особенно вредных книг комитетом министров по представлениям министра внутренних дел.

[16] Это задерживание было произведено по предложению начальника Главного управления по делам печати, князя Н. В. Шаховского, опасавшегося, что в романе «могут быть теории и возбудительные места, которые нежелательно было бы пускать в широкий оборот, особенно теперь, когда среда фабричных рабочих и без того возбуждена злонамеренными подстрекателями» (Главн. управ. по делам печати, 1901 г., д. № 38, л. 1).

[17] Об отношении царской цензуры к этой серии антиклерикальных романов Золя см. в этом же томе публикацию М. Д. Эйхенгольца, «Три города» Эмиля Золя и их судьба в России.

[18] Главн. управ. по делам печати, III отд., 1901 г., д. № 38, лл. 28—33. Заключение М. В. Никольского склонило совет Главного управления к решению допустить выпуск переводов романа, при условии исключения из них всего, «что с цензурной точки зрения может почитаться вредным для русских читателей». Утвердив это решение, министр внутренних дел Д. С. Сипягин предписал обратить особое внимание на исключение «выходок против государства и церкви». В результате всего этого переводы романа были разрешены с целым рядом исключений. Французское издание романа подверглось запрещению в 1901 г. и было разрешено после пересмотра в 1906 г., когда цензор В. К. Боас указал, что запрещение этого произведения уже не оправдывается первоначальными мотивами, так как «повседневная печать знакомит публику с такими документами действительной жизни, перед которыми бледнеют слова и действия фантастических лиц романа» (Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 6983).

[19] Главн. управ. по делам печати, III отд., 1903 г., д. № 29, л. 21.

[20] Главн. управ. по делам печати, III отд., 1903 г., д. № 29; Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 6917.

VIII. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Выше уже неоднократно отмечалась особенная строгость царской цензуры по отношению к малейшим проявлениям демократических тенденций в литературе, особенно в литературе французской, одним из жупелов которой для царского правительства на протяжении многих десятилетий был именно ее демократизм. Старательно отыскивая следы демократических тенденций, ведущих к «потрясению основ», даже в невинных, казалось бы, романах Поль де Кока, цензура с тем бо́льшим рвением относилась к творчеству писателей и поэтов—подлинных демократов, которые свой демократизм доказывали не только в своих произведениях, но и в политической борьбе, с оружием в руках, на баррикадах. Мы имеем в виду группу французских писателей, связавших свои имена с революцией 1871 г. и, особенно, с Парижской Коммуной,—Луизу Мишель, Э. Потье, Ж. Валлеса; к ним можно присоединить, в более ранний период, также П. Дюпона.

С творчеством Дюпона, а именно с книгой его «Muse populaire. Chants et poésies» (5e éd., Paris, 1858), царская цензура столкнулась в начале 1859 г. и отнеслась к ней благосклонно, вопреки представлению цензора, барона фон Бистрама, который в своем докладе (11 марта 1859 г.) писал: «Разбираемая книга заключает в себе сбор старых и новейших французских народных песней или поэзий, из числа коих много содержания предосудительного, как-то—против веры христианской, нашего правительства, взывающие к революции, к социализму, направления демократического и вообще клонящегося к нарушению общественного спокойствия... По соображении чего я полагал бы, что эту книгу лучше запретить для публики, тем более, что эти народные песни могут иметь интерес только местный для французской нации».

Несмотря, однако, на достаточно решительное предложение цензора, Комитет цензуры иностранной с ним не согласился и разрешил выпуск книги даже без исключения отдельных песен[1]. Объяснение этой снисходительности цензуры можно найти в общем «либеральном» направлении правительственного курса конца пятидесятых годов, вызвавшем даже со стороны А. В. Головнина (будущий министр народного просвещения) жалобу на то, что «известные идеи распространяются в воздухе, несмотря на все полиции и все цензуры»[2].

Подобный же «либерализм» был проявлен цензурою и относительно двух других книг П. Дюпона: «Chants et chansons (poésie et musique)» (Paris, 1855—1858, vols. I—III) и «Muse juvénile. Etudes littéraires en vers et prose» (Paris, 1859).

По поводу первой из этих книг цензор В. Л. Ржепецкий в своем докладе Петербургскому комитету цензуры иностранной (1 апреля 1859 г.) писал:

«Эти песни и песенки делятся на три части: пасторали, песни политические и социалистические и несколько символических песен, в которых отразилась философия всего произведения.

Нельзя не признать, что книга Пьера Дюпона содержит многочисленные доказательства выдающегося таланта автора; в успехе этого поэта нельзя сомневаться как благодаря его личным достоинствам, так благодаря тому, что поэзия его проникнута чувством общественности, отголоском которого она и является.

К сожалению, среди так называемых политических песен, которые, по замечанию автора—ярого республиканца—не имели иной цели, кроме защиты новой идеи от напора варваров, мы нашли несколько таких, которые показались нам слишком революционными и бунтарскими, чтобы быть разрешенными; вот почему мы и предлагаем их исключить».

Перечисляя эти стихотворения, цензор называл—в т. I: «Le chant des ouvriers», «Le chant des transportés», «Le chant des soldats», «Le chant des étudiants», «Le Cuirassier de Waterloo», «Kossuth», «Le chant des nations»; в т. II: «Le chant du vole», «Dieu

sauve la République», «La Sibérienne»; в т. III: «La fête du champ de Mars», «La chanson du banquet», «La Royauté», «La nouvelle Alliance». Постановлением комитета все эти песни были исключены, после чего издание было допущено к распространению[3].

Что касается второй из названных книг, то, как докладывал цензор В. Лангер (13 апреля 1860 г.), «в отделе прозы этого собрания сочинений Дюпона противного общим правилам цензурного устава ничего не содержится»; в отделе же стихотворений цензор предлагал к исключению четыре стихотворения («La fin de la Pologne», «Elégie», «Vision», «Chant des nations»), «написанные как бы с намерением возбудить Польшу к восстанию и ненависть к монархической власти»[4].

Совершенно иным оказалось отношение цензуры к песням П. Дюпона позднее, после того, как сделалось известным, что коммунары распевали некоторые из них на баррикадах. Когда, в 1872 г., «Песня французских работников» появилась в журнале «Бе-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В ПАРИЖЕ ВО ВРЕМЯ КОММУНЫ
Рисунок Жюля Эро
Литературный музей, Москва

седа» (1872, № 5), Московский цензурный комитет всполошился и представил всю книжку журнала к запрещению в комитет министров, указывая, что хотя данное стихотворение и изображает положение французских работников, «но нельзя не видеть в нем революционной и демократической пропаганды»[5]. Соответственно иначе стали квалифицироваться стихотворения П. Дюпона и в оригиналах: в цензорской характеристике сборника «Muse populaire» (Paris, 1875), уже бывшего прежде на цензурном рассмотрении, отмечались четыре стихотворения («La Sibérienne», «Le chant du Danube», «Schamyl», «La prise de Sébastopol»), «исполненные декламаций, звонких своею ненавистью к России», но «в сущности, не имеющих никакого значения и утративших даже новость впечатления»; сам цензор (Л. О. Ивановский) полагал, что они «не заслуживают цензурной строгости», и, однако, комитет постановил запретить весь сборник целиком[6].

Дело, конечно, было не в самом Дюпоне и не только в нем. К нему, в данном случае, были применены нормы, выработанные цензурной практикой по отношению к демократической литературе в результате событий Парижской Коммуны, в которой царская

цензура, вслед за наиболее значительным реакционным публицистом и, в известной степени, вдохновителем всей внутренней и внешней политики России семидесятых-восьмидесятых годов, М. Н. Катковым, склонна была видеть лишь «дикое варварство», лишь «страшный пережитый Францией кошмар», «лишь дерзкий обман», который «издевается над целой страною и продолжает, по заключении мира, разрушительное дело войны»[7]. Безудержная брань, наглая и подлая клевета, целая система умолчаний, подтасовок и прямых искажений действительных исторических фактов—все средства были пущены царским правительством, его явными и тайными агентами для того, чтобы исказить и затуманить величественную картину борьбы французского пролетариата за установление своей диктатуры, картину великой Парижской Коммуны, которая, по определению товарища Сталина, «была первой, славной, героической, но все же безуспешной попыткой пролетариата повернуть историю против капитализма»[8].

Современный исследователь, Л. Добровольский, специально изучавший отношение царской цензуры к Парижской Коммуне, пришел к неожиданно оптимистическому выводу, что «периодическая печать в России в 1871 г., помещавшая статьи и заметки о Парижской Коммуне, не вызвала особых гонений цензуры: известно только несколько случаев, когда цензура обратила внимание на статьи о Коммуне в периодической печати»[9]. Необоснованный оптимизм этот тотчас же развеется, если мы примем во внимание, что современная пресса в громадном большинстве отзывалась о Коммуне в духе и стиле приведенных выше катковских цитат, частью же (речь идет о «прогрессивной», либеральной печати) трусливо отмалчивалась, перепечатывая лишь официальные сообщения и избегая выражать свое собственное о них мнение. Наоборот, единичные попытки дать более или менее правильное представление о событиях немедленно пресекались самым решительным образом (за статью Е. И. Утина «Франция и французы после войны» в «Вестнике Европы», 1871, № 12, журналу было дано предостережение), как равно пресекались и попытки демократической печати фактами опровергнуть тенденциозные измышления и инспирации правительственной прессы. Так, например, рецензия на книгу Ланжеле и Каррье «История революции 18 марта», предназначавшаяся для журнала «Дело» (1871, № 5), не была пропущена цензурой, нашедшей, что она написана «в сочувственном духе к деятелям Коммуны»[10]. Смелая попытка Щедрина сочувственно отозваться на события Коммуны и заклеймить ее кровавых «усмирителей» была немедленно пресечена цензурой: пятая глава «Итогов», посвященная этой теме, была, по требованию цензуры, изъята Щедриным из августовской книжки «Отечественных Записок» за 1871 г., и запрещенный текст смог быть опубликован, да и то не полностью, лишь в 1914 г. (публикация В. Кранихфельда в «Киевской Мысли», от 28 апреля 1914 г.)

Л. Добровольский знает эти основные факты и часть из них приводит в своей работе, но либо игнорирует их, либо не делает из них нужных напрашивающихся выводов. Однако, и сам он вынужден, в конце концов, признать, что «под влиянием парижских событий 18 марта, царское правительство с особой бдительностью стало следить за радикальной журналистикой». И,—прибавим мы от себя,—не только за «радикальной» (демократической?!) журналистикой, но и за всеми малейшими проявлениями демократической литературы.

Старый, извечный страх самодержавия перед надвигающейся с Запада, из Франции революционной грозой, перед возможными вспышками ее внутри империи снова возник, принимая тем более фантастические размеры в глазах правительства, что массовое революционное движение в России было на этот раз уже не фикцией, что ряд политических процессов воочию демонстрировал и вовлечение в него подлинно демократических элементов, сознательных рабочих и крестьян. Усиливаемый последующим развитием революционного движения в России, страх этот соединялся с не-

избывной ненавистью правительства и его органов ко всему демократическому, непременно подразумевавшей и «кощунство», и «безнравственность», и «республиканские тенденции» и т. д. Временами этот страх, эта ненависть, взрываясь, являлись источниками таких беспримерных по своей наглости и беспредельной грубости официальных документов, как, например, публикуемая ниже записка Е. Феоктистова о Луизе Мишель, резко выделяющаяся своим тоном даже среди того букета подлости и пошлости, какой представляют цензурные отзывы о демократической французской литературе, в частности, об ее представителях, в той или иной мере связанных с Парижской Коммуной.

В начале восьмидесятых годов цензура столкнулась с творчеством Жюля Валлеса, которого чрезвычайно положительно, хотя и с осторожными оговорками, рекомендовал русскому читателю П. Боборыкин. «На Жюля Валлеса, несмотря на то, что он уже человек почтенных лет,—писал П. Боборыкин,—позволительно смотреть, как на писателя-беллетриста, пришедшего на публичный экзамен с прекрасным запасом умственных сил и темперамента. Сдал он этот экзамен с отличной отметкой, но не показал еще: может ли он пройти весь курс, предстоящий ему. Выработает ли он из себя такого романиста, как те реальные писатели, к которым он согласен причислить себя,—Гонкур, Золя, Додэ—или не пойдет дальше яркого, даровитого субъективизма,—во всяком случае, это—сила и характерный сын своего времени. Самый его субъективизм представляет собою большое обобщение, так думать и чувствовать привыкли тысячи французов с общественными идеалами. И во всей его трилогии [речь идет о трилогии «Jacques Vingtras»: «L'enfance»—«Le bachelier»—«L'insurgé».—*И. А.*], в особенности в двух последних частях, и французская, и вся остальная публика найдут все яркие и своеобразные особенности склада ума, языка, все резкости, доходящие иногда до цинизма, какими отличается его поколение. Но в среде радикальных французов его лет Жюль Валлес принадлежит к тому меньшинству, которое, сохраняя самые широкие демократические идеалы, не желает впадать в рабство ни перед какими громкими словами, ненавидит идолов и всегда с полным бесстрашием разбивает лживые авторитеты, травит всякими способами фразеров и честолюбцев, столько раз вводивших в обман наивную массу, жаждущую лучших дней»[11].

В этой характеристике писателя-коммунара явно ощущается стремление сгладить те особенности классового его облика, которые могли привлечь к нему внимание цензурных органов, замазать революционизирующий характер его трилогии и, в особенности, третьей ее части, по поводу которой, собственно, и написана статья. В данном случае, цель критика,—если она, конечно, была поставлена им сознательно, а не являлась результатом искаженного, классово-чуждого понимания творчества Ж. Валлеса,—была достигнута: о третьей части трилогии русский читатель получил вполне извращенное представление[12].

Тем не менее, непосредственное знакомство с этой третьей частью вызвало сильное беспокойство у цензора Я. П. Полонского (доклад 18 июля 1886 г.), который писал о ней следующее:

«Книга эта посвящается автором жертвам социальной несправедливости, взявшимся за оружие против дурно устроенного общества и устроившим под знаменем Коммуны Великую федерацию страданий (La grande Fédération des Douleurs). Книга эта не роман и не повесть. Это какой-то отрывочный дневник, или обрывки воспоминаний одного из участников в революции, послужившей основанием последней французской республики. Книга эта не заключает в себе ни живых картин этого времени, ни характеристик, ни хоть сколько-нибудь ясно очерченных лиц, не вымышленных, а действительно существовавших.

Герой смеется над войной, желает, чтобы Пруссия побила Наполеона III, смеется над патриотизмом, кощунствует, часто выражается грубо и цинично и является в этих отрывочных разговорах и встречах лицом невежественным, всё и всех ругающим,

всех подозревающим, насмехающимся, беспрестанно попадающимся под аресты, как человек, провозглашающий гражданскую междоусобную войну, и как ярый враг всякого правительства, ищущий популярности.

Это ряд уличных и закулисных сцен, заговоров, воззваний, грязной и кровавой борьбы и бессмысленных, часто непонятных восклицаний. Читается книга тяжело, она не занимательна и для умных людей полезна, как живая искренняя исповедь человека праздного, политика, делающего революцию и для многих ставшего авторитетом ради своей юркости и беззастенчивости. Всё это в высшей степени антипатично и, как кажется, антипатично для самого революционера...

Этот чисто парижский тон книги, тон бульварный и никаким чувством, никакой мыслью не проникнутый, едва ли кому-нибудь понравится, и только с этой точки зрения книга может быть дозволена. Но если этого еще недостаточно для ее позволения, то запрещение книги этой представляю на благоусмотрение комитета»[13].

Если в приведенном примере ненависть царского правительства к Парижской Коммуне и ее деятелям не нашла полного своего выражения, если, ради соблюдения какого-то бюрократического декорума, цензуре пришлось разрешить заведомо неприемлемую для нее вещь, то в нескольких документах, приведенных дальше, ведомство это выступает без всякой внешней маскировки, давая беспримерные по своей наглости и грубости формулировки и квалификации. Речь идет о коммунарке Луизе Мишель, ряд книг которой, попадая в цензуру, не вызывал иных характеристик, кроме «психопатка», «сумасшедшая», «глупость», «бездарность», «полупомешанная» и даже ругательства — совсем уж необычного в официальных документах—«стерва».

В начале февраля 1886 г. в иностранную цензуру поступила книга Л. Мишель «Mémoires écrits par elle-même» (Paris, 1886). 12 февраля 1886 г. цензор Я. П. Полонский представил о ней следующий доклад:

«Изданию этому предпослано предисловие издателя, где Луизе Мишель расточаются большие похвалы, как женщине доброй, как нежной дочери и как существу, одаренному сильным, энергическим характером.

Из самых же ее записок видно только, что она одарена недюжинными способностями, фантазией и необузданным характером. Отношения же ее к матери были почти-что таковы, что мать постоянно страдала и рабски должна была молчать перед дочерью, а когда мать умерла, то Луиза Мишель хвалится тем, что не уронила о ней ни одной слезы и в тот же день говорила речи, как ни в чем не бывало.

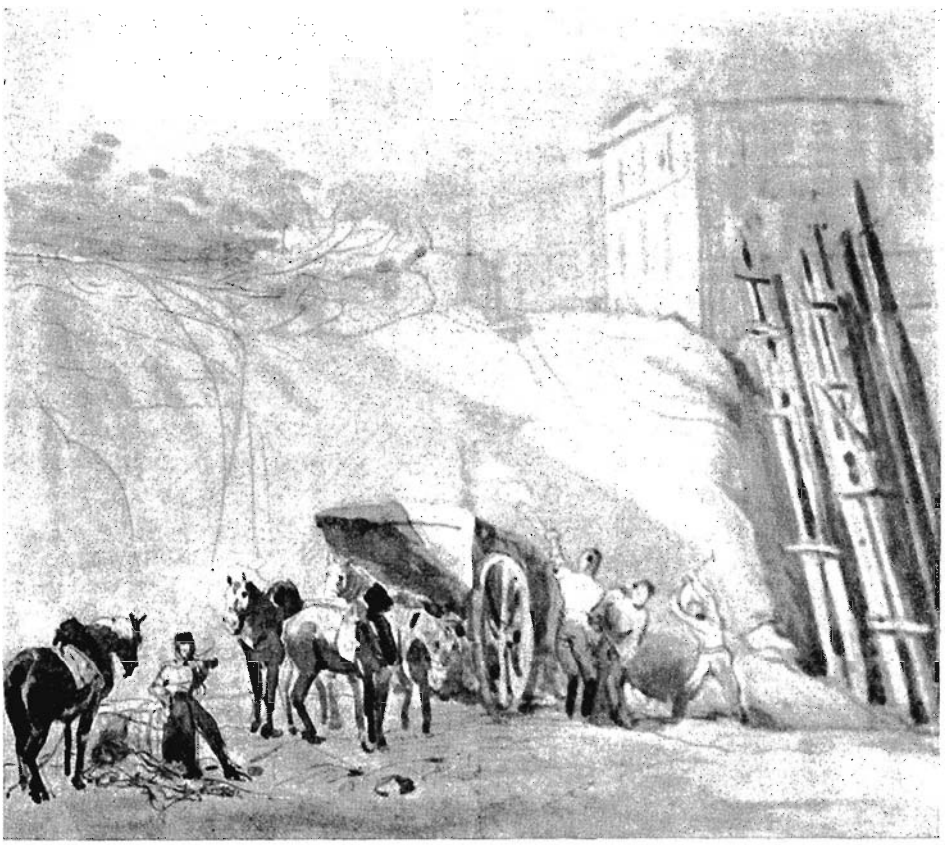
Для зрелого ума записки эти по местам, особливо там, где она приводит выписки из статей своих и речей ...[оборвано] Луиза Мишель является психопаткой или сумасшедшей, для которой пальба, запах пороха и крови усладительнее всего на свете, которая не признает никакого правительства, ни монархического, ни республиканского, никакой власти, жаждет какой-то небывалой свободы и равенства, свободы диких зверей и которая глубоко убеждена, что за ее спиной стоят тысячи, миллионы таких же, как она, и что старый мир государств, семьи и всяческих верований скоро погибнет навсегда и невозвратно.

Но такие сумасбродства в ранние годы заразительны. Героизм фанатизма подкупает слабую волю и увлекает романическое воображение—вот почему, полагаю, книга эта не может быть дозволена»[14].

По неизвестным причинам, одновременно с передачей книги на цензорский отзыв Я. П. Полонскому, председатель Петербургского комитета цензуры иностранной, А. Н. Майков, послал ее также на просмотр начальнику цензурного ведомства Е. М. Феоктистову, от которого был получен незамедлительный (14 февраля 1886 г.) и совершенно категорический ответ. «Я не нашел никакой от вас записки при этой книге,— писал Феоктистов Майкову.— Посылаете ли вы ее с целью узнать мое мнение, не следует ли ее запретить на основании отмеченных мест? Я не стал и просматривать

их. Для меня вполне достаточно, что на книге выставлено имя такой стервы, как Луиза Мишель: зачем нам допускать к себе ее пакостные произведения?»[15].

Вряд ли можно что-нибудь прибавить к этому документу, как нельзя лучше демонстрирующему неизгладимую ненависть бюрократической верхушки российского государственного аппарата ко всему, что выявляло неугасимый дух сознательности и величия рабочего класса. И, тем не менее, несмотря на свой необычный характер, мало согласующийся с бюрократической процедурой, письмо это не только явилось директивой для цензурного ведомства на будущее время; оно, вместе с тем, предопределило



ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В ПАРИЖЕ ВО ВРЕМЯ КОММУНЫ
Рисунок Жюля Эро
Литературный музей, Москва

и самый характер последующих отзывов. Этому поддался даже Я. П. Полонский, который, по своему положению известного поэта и общественного деятеля, мог бы и не проявлять излишнего служебного рвения. По поводу книги Л. Мишель «Les microbes» (Paris, 1886) Полонский в своем докладе (8 октября 1886 г.) писал:

«Давно не появлялось книги глупее и бездарнее, как это произведение Луизы Мишель, знаменитой в Париже социалистки и коммунистки. Только в предисловии ее к своим рассказам слышится в ней вера в грядущую всемирную революцию. «Старое общество родит новую эру». «Мы видим, говорю я, как уходят старые расы, отяжелевшие от безделия, одуревшие от наслаждений, в то время как нищета подхлестывает кровь в тощих желудках вечно голодных рас». «Голодные волки рычат, львы просыпаются, мы уже вступили в новую эпоху». И тому подобные старые, давно уже всем надоевшие фразы.

В сущности, даже такое предисловие не внушительно. Всё же остальное, по моему мнению, как нечто неудобоваримое, смутное, часто неестественное,—даже может быть рекомендовано для чтения всем поклонникам и поклонницам Луизы Мишель. Ничем лучше не могла она доказать, какой сумбур, какая каша у ней в голове.

Указываю на места в книге на стр. 72, 192 и 289, где упоминается о России. Всё остальное посвящено изображению разврата и нищеты во Франции, в Англии, в Ирландии. Писано отрывочно,—разговоры ведутся на уличном языке и нуждаются в переводе на обыкновенный французский язык.

Если предисловие и указанные мною места не заслужат в комитете цензурной строгости, то, я думаю, и вся книга ее не заслуживает.

Словом, запрещение книги этой предоставляю на благоусмотрение комитета»[16].

В таком же роде и отзыв Полонского о следующей книге Л. Мишель, романе «Le monde nouveau» (Paris, 1888):

«Роман этот, очевидно, написан полупомешанной. В нем нет ни таланта, ни здравого смысла, ни фактической верности. Даже собственные имена перевраны. Так, например, Стенька Разин назван Stenkorate. Об этом Стенкорате стоит заглянуть на стр. 161—164.

Конечно, все сочувствия авторши на стороне ссыльных и казненных по политическим делам и ненависть к царям. На стр. 140 намекается, что Александр II северную часть Русской Америки проиграл в карты. Ему же придан эпитет «Dynamité».

Обращаю внимание на стр. 283—284—285—287. Тут описаны казни русских анархистов. Кроме того, авторша впадает в какие-то пророческие аллегории; чтобы в этом убедиться, стоит прочесть: «Epilogue», стр. 346 и до конца книги. Тут Луиза Мишель пророчит, что движение сфер [!?] будет всё быстрее и быстрее и что между планетами будут интернациональные сношения.

Было бы очень полезно дать прочесть эту книгу поклонникам и поклонницам Луизы Мишель, но по уставу цензурному, к сожалению, ее следует запретить»[17].

В таком же роде был составлен и доклад цензора Н. М. Дроздова (13 марта 1889 г.) по поводу книги Л. Мишель и Ж. Гетре «La misère» (Paris, vols. I—II):

«Сочинение это крайне тенденциозное. В нем проводится мысль, что основы современной жизни вполне несостоятельны, что в настоящее время низшие, рабочие классы находятся в самом жалком положении, как совершенно бесправные, служат жертвами эксплоатации капиталистов и произвола и тирании правительства и духовенства и что существующий строй должен быть вполне ниспровергнут, чтобы впоследствии положить начало новой жизни в духе крайних социалистических теорий. Авторы заявляют себя приверженцами известной программы анархиста Бакунина, признающего «хаос, смерть и разрушение» единственным средством для проложения пути к водворению начал новой жизни (стр. 940—941, 947 и др.). В рассматриваемом сочинении встречаются также оскорбительные отзывы о христианстве (стр. 437, 544 и др.) и России, которая называется страною тиранов (стр. 571). Касаясь русских анархистов, авторы в превратном виде изображают деятельность их, как направленную к благу всего человечества, и, в частности, отправление их в Сибирь и жизнь на рудниках (стр. 764—778, 810—813). Поэтому сочинение это, как весьма вредное по своей тенденциозности, должно быть воспрещено, по моему мнению, к обращению»[18].

Приведем еще отзыв А. Ф. Копылова о книге Л. Мишель «Le clacque-dente» (Paris,1890):

«Имя сочинительницы дает возможность составить наперед заключение о качествах ее труда; об этом также легко судить по заглавию, обертке и предисловию на 1 и 2 страницах. Содержание представляет собою какой-то фантастический рассказ, имеющий в виду представить бедствия низшего класса французского населения, терпящего нищету и служащего предметом эксплоатации для недобросовестных капиталистов и зависящей от последних администрации. Всё это, впрочем, очерчивается весьма

туманно, ненатурально и скучно, причем трудно решить, может ли подобный рассказ возбудить с чьей-либо стороны страсти или убедить кого. Выводимые на позор лица кажутся чересчур уже ненатуральными, и во многом оказывается играющей роль чистая случайность. Может быть, впрочем, ближе знающие политическую жизнь во Франции найдут здесь сатиру на некоторых министров и судебных сановников, а также на крупных, но недобросовестных финансистов и журналистику.

По моему мнению, наиболее неудобными у нас в цензурном отношении являются выражения, представляющие близость падения нынешнего отживающего порядка вещей и близость наступления в Европе новой эры, когда повсеместно наступит господство социальной республики. Смотри об этом, кроме введения на 1 и 2 страницах, главу XXV, особливо четыре последние строки на 239 и начало 240 страницы. В этом же роде много и других мест, например: подчеркнутые строки на 66 странице, очевидно, написанные по поводу последней всемирной выставки в Париже. Заключается роман представлением торжества пророчимой социальной республики. В каких выражениях это сделано, можно видеть из подчеркнутых мест на страницах 318 и 319.

В общем, я полагаю, что разбираемое произведение по своей тенденции, многим отдельным выражениям, вроде вышеуказанных, и имени автора следовало бы подвергнуть запрещению»[19].

И еще много времени спустя, при преемнике Феоктистова и позже, даже после революции 1905 г., сочинения Луизы Мишель продолжали пугать царскую цензуру призраком погибшей, но не побежденной Парижской Коммуны. В 1896 г. цензор С. Ф. Гейспиц отмечает (доклад 25 сентября 1896 г.) наличие в сборнике стихотворений Л. Мишель «A travers la vie» большинство стихотворений «характера республиканского и социалистического», особо выделяя стихотворение «A des amis russes», «посвященное памяти казненных нигилистов»[20].

Столь же категорически отрицательным было и отношение царской цензуры к произведениям Эжена Потье, автора текста пролетарского гимна «Интернационал». 24 июня 1887 г. цензор А. И. Певницкий представил доклад о двух сборниках Э. Потье: «Chants révolutionnaires publiés par les soins des anciens collègues de Eugène Pottier à la Commune de Paris. Préface de Henri Rochefort» (Paris, 1887) и «Quel est le fou? Chansons. Avec une préface de Gustave Nadaut» (Paris, 1884).

«Этот сборник революционных песен,—писал цензор о первом сборнике,—неизвестного до сих пор автора, Евгения Потье, бывшего участника Парижской Коммуны, весь проникнут жестокою ненавистью к существующему экономическому порядку и направлен к возбуждению неимущих классов к насильственному перевороту всего общественного строя.

По мнению автора, недостаточно простить и вернуть из ссылки осужденных коммунаров, а следует еще восстановить в правах пролетариев упразднением частного имущества и отдачею рабочим в общее пользование всех движимых и недвижимых имуществ и орудий производства.... Для достижения предположенной цели автор считает дозволительными всякие средства: поджоги... грабеж... и убийства...

Ввиду крайне предосудительного направления этой книги, не может быть сомнения, что она подлежит запрещению».

Относительно второго сборника цензор замечал, что он «хотя и отличается некоторой умеренностью сравнительно с предыдущей книгою, но так как многие песни в нем проникнуты революционным духом..., то полагаю необходимым запретить и эту книгу»[21].

В связи с именем Э. Потье находится и двукратное уничтожение цензурой изданий «Интернационала». В 1907 г. подверглось запрещению французское издание «Интернационала» (приложение к бельгийскому журналу «L'Avenir social», 1906, № 8), причем цензор И. Г. Трейман указывал, что это — «песня..., призывающая рабочий народ к борьбе с государственной властью и господствующими классами»[22]. А в следующем

году, вследствие запроса департамента полиции, Главное управление по делам печати предложило Московскому комитету дать свое заключение о нотной тетради: «Интернационал. Международный гимн. Издание Детлаф и К°, 2-я тысяча. Цена 30 коп.».

«Рассмотрев текст названного гимна, отпечатанный на особом листе, вложенном в нотную тетрадь, — говорилось в специальном отношении комитета к прокурору Московской судебной палаты (16 июня 1908 г.),— Московский комитет по делам печати нашел, что в словах этого гимна заключается возбуждение к учинению бунтовщического деяния и к ниспровержению существующего в государстве общественного строя, а также призыв к классовой борьбе между отдельными сословиями населения, т. е. признаки преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 и 6 статьи 129-й уголовного уложения.

Сделав вследствие сего, на основании статьи 3-й отдела IV временных правил для неповременной печати от 26 апреля 1906 г., распоряжение о наложении на означенное сочинение ареста, Московский комитет по делам печати имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство возбудить против лиц, виновных в его издании и отпечатании, судебное преследование по указанной выше статье уголовного закона».

По «мудрому» заключению прокурорского надзора, утвержденному Московской судебной палатой, арест, наложенный на ноты, был отменен, а изданный отдельно текст к нотам был уничтожен[23].

И, наконец, в 1914 г. был наложен штраф в 500 руб. («с заменою, в случае отказа от уплаты, арестом на 3 месяца») на редактора латышского журнала «Rihts» (выходившего в Риге), А. А. Силина, за помещение в журнале (1914, № 3) статьи «Рабочий как поэт», в которой давалась характеристика Э. Потье, поэта-коммунара, и указывалось на значение его революционных песен, особенно «Интернационала», который, как утверждает автор статьи, знают все сознательные рабочие, хотя он и не напечатан на латышском языке. По мнению лифляндского губернатора Н. А. Звягинцова, наложившего штраф, «в статье этой восхваляется преступная деятельность умершего за границей революционера Евгения Потье»[24].

13 мая 1871 г. А. В. Никитенко сделал в своем дневнике запись о падении Коммуны. «Коммуна перестала существовать,— писал он,— версальцы в Париже. Но бунтовщики успели зажечь его в разных местах, опрокинуть Вандомскую колонну и разрушить дом Тьера. Самое ужасное последствие диких злодейств — это позор, который они наложили на всякое стремление к общественному усовершенствованию и обновлению. Такой оргии самых постыдных и нелепых злодейств — оргии опьяневшего грубого своеволия и разнузданных страстей, под видом любви ко всеобщему благу, свет еще никогда не видал. И если Франция после этого не образумится, не покончит навсегда, или, по крайней мере, на очень долго со своим любимым времяпровождением, то придется согласиться, что она обречена на гибель.— Проклятая Коммуна совсем скомпрометировала дело свободы. Не было и не будет бо́льшего торжества деспотизма, как то, которое она ему доставила своими отвратительными оргиями»[25]. Следует иметь в виду: Никитенко отнюдь не принципиальный и махровый реакционер, не бурбон типа Феоктистова; как известно, дневник Никитенко содержит немало очень резких выпадов против самодержавия и бюрократии. В своих осуждениях по адресу Коммуны Никитенко лишь шел по следам своих источников, той информации, с совершенно специфической характеристикой и оценкой всех действий Коммуны, которая пропускалась цензурой и одурманивала ум и воображение русских читателей. Все усилия царской цензуры в данном случае и заключались в том, чтобы привить читателю с в о ю, полицейскую точку зрения на Коммуну, не допустить до читателя ничего такого, что могло бы обрисовать ее с иной, действительной, исторически-правильной стороны. Приведенные выше примеры наглядно это иллюстрируют.

И лишь постепенно, окольными и трудными путями, через подпольную печать, проникала в сознание русского читателя, демократического читателя, правда о Коммуне.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1859 г., № 668.

[2] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XVII, СПб. 1903, стр. 195.

[3] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1859 г., № 869.

[4] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1860 г., № 1110.

[5] Главн. управл. по делам печати, журналы совета за 1872 г., № 51, п. 3. Совет Главного управления, впрочем, признал предлагаемую меру слишком серьезной (очевидно, в соотношении с незначительностью объема самого стихотворения П. Дюпона) и ограничился занесением этого факта в «журнал заседаний» «для характеристики направления издания».

[6] Доклад 3 мая 1878 г. СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1878 г., № 3306.

[7] См. передовые статьи Каткова в «Московских Ведомостях», 1871, №№ 51, 87, 102, 104.

[8] И. Сталин, Международный характер Октябрьской революции («Вопросы ленинизма», изд. 10-е, Партиздат ЦК ВКП(б), 1934, стр. 203).

[9] Лев Добровольский, Парижская Коммуна в русских запрещенных изданиях 70-х годов («Книга о книге», т. III. Л. 1932, стр. 279).

[10] См. Главн. управл. по делам печати, 1871 г., д. № 154; СПб. ценз. к-т, 1868 г., д. № 76, т. III; см. также статью Л. Доброволького, стр. 279 и след.

[11] П. Боборыкин, Жюль Валлес и его новый роман [«L'insurgé». — *И. А.*] («Живописное Обозрение», 1882, №№ 43, 45, 48; цит. место № 48, стр. 767). Кстати сказать, в статье этой передаются и личные впечатления от знакомства с Ж. Валлесом и встреч с ним.

[12] Две предыдущие части трилогии «Jacques Vingtras» — «L'enfance» и «Le bachelier» были разрешены иностранной цензурой в 1881 г. Перевод последней части на русский язык, помещенный в 1882 г. в журнале «Наблюдатель», вызвал со стороны цензуры курьезное истолкование. В 1883 г., характеризуя направление этого журнала, совет Главного управления по делам печати отметил, что его «вредная тенденциозность» обнаруживается даже в беллетристике, и в подтверждение указал на роман «Баккалавр», в котором «осуждается классическая система образования и содержится призыв свергнуть современное общество» (Главн. управл. по делам печати, журналы заседаний совета за 1883 г., № 12).

[13] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 4902. На основании доклада Полонского книга была сперва запрещена, но затем, — очевидно ввиду того, что роман прошел незамеченным в журнале, — постановление это было отменено, и в результате получилась не совсем складная окончательная резолюция: «Не запретить, а позволить (пропущено в «Revue Nouvelle»)».

[14] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 1292. Резолюция комитета: «Запретить».

[15] СПб. к-т ценз. иностр., 1886 г., д. № 23. Письмо не имеет обращения, но адресат с достаточной точностью определяется из содержания: оно могло быть направлено только к лицу, руководящему иностранной цензурой, т. е. к А. Н. Майкову.

[16] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1886 г., № 7359. Резолюция комитета: «Запретить».

[17] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1888 г., № 4017. Резолюция комитета: «Запретить».

[18] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1889 г., № 2366. Резолюция комитета: «Запретить».

[19] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1890 г., № 6353. Резолюция комитета: «Запретить».

[20] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1896 г., № 8445. Резолюция комитета: «Запретить и не выдавать».

[21] СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1887 г., №№ 5000 и 5000а. Резолюция комитета: «Запретить обе книги».

[22] Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1907 г., № 6201.

[23] Главн. управл. по делам печати, II отд., д. № 270.

[24] Главн. управл. по делам печати, I отд., 1914 г., д. № 65, л. 9. Постановление датировано 13 марта 1914 г. Чтобы исчерпать имеющийся в нашем распоряжении материал укажем еще на запрещение «Песенника для народа», изданного Рабочей социалистической библиотекой (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1906 г., № 378).

[25] А. В. Никитенко, Записки и дневник, т. II, СПб. 1905, стр. 430.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материалы нашей работы позволяют сделать некоторые общие выводы, тем более необходимые, что в отдельных очерках, избегая повторений, мы сознательно уклонялись от нужных обобщений и итогов.

Мы проследили борьбу царской цензуры с французской литературой, в лице ряда крупнейших ее представителей, на протяжении почти полутораста лет. В разное время, применительно к отдельным авторам, борьба эта принимала различные формы, но основа ее всегда была одна: страх дворянско-крепостнической России, страх ее правительственных органов перед революцией, надвигающейся с Запада, из Франции, перед революционизирующими идеями демократизма и атеизма, новой нравственности и морали, которые распространялись французскою философиею и проводником которых, в значительной степени, была французская художественная литература.

Наиболее открыто и откровенно эта борьба проводилась в конце XVIII в., когда царские указы прямо говорили, что «правительство, ныне во Франции существующее, желая распространить безбожные свои правила во все устроенные государства, ищет развращать спокойных обитателей оных сочинениями, наполненными зловредными умствованиями, стараясь те сочинения разными образами рассеивать в обществе»[1] и что «чрез вывозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия»[2]. В сущности, это мнение не изменилось и в последующие годы, хотя, вследствие различных общеполитических и случайных обстоятельств, временами вуалировалось и смягчалось. Бывали короткие промежутки, когда этот страх перед «французской заразой» несколько ослабевал,—таковы, например, были двадцатые годы XIX в., годы существования «Священного союза», но затем события снова возбуждали его, снова порождали репрессии и цензурные кары.

Особенно показателен в этом отношении период времени между революциями 1830—1848 гг.: для Николая I даже буржуазная Франция Луи-Филиппа представлялась пределом революционности и разврата, каким-то идеологическим Содомом, из которого не могло исходить ничего положительного, ничего достойного внимания. А. В. Никитенко описывает в дневнике своем беседу с министром народного просвещения Уваровым «о некоторых романах, переведенных с французского». В беседе этой министр «приказал не пропускать» «Церковь божьей матери» Гюго, хотя и «отозвался с великой похвалой об этом произведении». «Министр полагает,—записывал Никитенко,—что нам еще рано читать такие книги, забывая при этом, что Виктора Гюго и без того читают в подлиннике все те, для кого он считает это чтение опасным». А наряду с В. Гюго внимание министра привлекают также и Бальзак, и Поль де Кок, и Шарль Нодье, о которых «он приказал составить для него записку»[3]. Совершенно очевидно, что дело здесь шло не о каких-либо личных антипатиях Уварова и не о стремлении его подчинить всю «словесность», как оригинальную, так и переводную, «требованиям приличия и благопристойности, дабы возвысить и облагородить» ее[4],— вся совокупность указов, «предложений» и постановлений, касающихся иностранной цензуры за время николаевского царствования, отчетливо говорит об упорно и систематически проводившейся работе по изоляции русской литературы, русской общественной мысли от освободительных, прогрессивных и демократических тенденций французской литературы.

Произведения французских авторов раз навсегда объявлялись вместилищем всех и всяческих скверн, рассадником разврата и неверия, для них изобретались особые, наистрожайшие правила. В 1847 г. цензуре предписывалось «обращать впредь ближайшее и строжайшее внимание на представляемые в комитет переводы с иностранных языков, особенно современных французских писателей, коих имена более или менее известны публике, обязав гг. цензоров, чтобы, по окончательном рассмотрении сих

переводов, каждый из них предварительно доводил до сведения председателя цензурного комитета, которому предоставляется или разрешить издание подобного перевода, *или представить на рассмотрение министра народного просвещения*»[5]. Цензуре «поставляется в обязанность» «рассматривать переводы новейших французских романов с бóльшею против иных книг строгостию, в отношении к нравственности их содержания, обращая особенное внимание на господствующий дух и намерение авторов»[6]. *При этом «нравственность содержания» оказывается сплошь и рядом лишь удобным специальным термином*, дающим возможность цензуре выявить в любом произведении, в любой книге «политику», т. е. революционные и вольнодумные («либеральные»—по терминологии того времени) тенденции. Совершенно естественно, что при этом рядом, в одной плоскости, оказывались и Гюго и Поль де Кок, что в романах Александра Дюма усматривались едва ли не революционные тенденции, а повести Жюля Жанена и Э. Сю обвинялись в безнравственном вольнодумстве, наряду с песнями Беранже и романами Жорж Санд.

Этот второй план действий и намерений царской цензуры присутствует почти во всех цензурных документах, в том числе и относящихся к 50—60-м годам, прославленным буржуазно-либеральными историками, как годы относительного «либерализма» цензуры и более строгого соблюдения законности. С примерами подобного «либерализма» и «законности» читатель в изобилии встречался в предыдущем изложении; для каждого отдельного автора, для каждой почти отдельной книги мы пытались установить те конкретно-исторические причины, следствием которых и являлся тот или иной цензурный отзыв. Обобщая эти отдельные, разрозненные замечания, мы можем снова указать на далеко не изжитый страх перед революцией и перед Францией, как ее колыбелью.

Весьма характерен в этом отношении отзыв И. А. Гончарова, знаменитого писателя и умного «либерального» цензора, по поводу русского перевода книги Г. Карлейля «История Французской революции». Книга эта, как известно, написана с резко враждебных революции позиций, отличается, по словам цензора, «блистательным изложением, остроумными сближениями с преобладанием глубокой и ядовитой иронии». И, тем не менее, цензор решительно настаивал на запрещении русского перевода книги. «Все занимающиеся историей и вообще образованные люди,—писал он,—прочтут книгу Карлейля в подлиннике или во французском переводе; в русском же переводе она неминуемо поступит в многочисленный класс полуобразованных и даже вовсе необразованных людей. Спрашивается, что могут извлечь не приготовленные историческим знанием читатели из этой ядовитой сатиры, направленной на слабость и ошибки верховной власти (хотя бы и не у нас; но ведь аналогия есть неизбежное свойство природной логики), на разлад ее с народом? Наконец, какое впечатление должны производить на простые умы яркие картины насилий, восстаний, ниспровержения сильных и богатых, на разлив санкюлотского террора и проч.?—Если всё это не научит простых читателей искусству восстания, к которому, по словам Карлейля, так способна французская натура, то все эти уроки сопоставления бедных с богатыми, эти желчные нападения на правительство не пройдут бесследно и, конечно, не могут не заронить таких идей и соображений, которые принесут во многих русских умах если не опасный, то уродливый плод и, во всяком случае, поведут к путанице или извращению здоровых понятий и добрых чувств русского народа, нуждающегося в другой, более питательной и здоровой умственной пище»[7].

Повторяем, речь идет о книге безусловно враждебной революции, порицающей *Людовика XVI за слабость, проявленную им при первых проявлениях «санкюлотизма»*. И тем не менее, в 1866 г., когда только-только начал испаряться страх перед массовыми революционными потрясениями внутри империи, когда каракозовское дело и последующий белый террор Муравьева обнаружили наличие ряда антиправительственных,

антимонархических подпольных организаций, — самое упоминание о революции, о слабости власти, о народных возмущениях и т. п. представлялось недопустимым. А борясь с революционной заразой, царское правительство и, в первую очередь, царская цензура брали под подозрение всю французскую литературу, усматривая в ней своего рода «бациллоносителя», с которым нужно бороться самыми решительными и активными средствами. Вряд ли нужно подчеркивать, что и Парижская Коммуна немало способствовала оживлению и усилению подобных настроений, тем более живучих и длительных (с ними мы встречаемся, в сущности, вплоть до революции 1905 г.), что внутри страны было налицо широко развернувшееся движение революционного народничества 70-х годов, а позднее—массовое революционное рабочее движение.

Было бы, однако, глубоко ошибочным рисовать взаимоотношения царской цензуры и французской литературы сплошной черной краской, видеть в них один только заранее и наперед данный шаблон. Шаблон этот, действительно, существовал, но состоял из не сведенных в какой-либо кодекс, но легко определяемых из разного рода предписаний и циркуляров, а также из цензурной практики правил о том, что и в какой степени не может быть пропускаемо, что должно быть сочтено подлежащим запрещению и т. д. Знакомство с литературой, таким образом, у цензоров было в подавляющем большинстве случаев чисто казенное, поверхностное, подход их к цензируемым произведениям—сугубо формальный. Поэтому скрытый социальный протест, глубокая критика существующего буржуазно-дворянского строя далеко не всегда доходили до сознания царских цензоров, и, наоборот, острая тематика, хлесткость стиля вызывали репрессии, иногда в полной мере незаслуженные с точки зрения политических интересов самодержавия. «Острая... сатира» Бальзака (Энгельс) почти не вызывала возражений в цензуре, но почти каждое произведение Октава Мирбо наталкивалось на упорные запрещения, на поток всевозможных возражений одно сильнее другого. Подобным же образом несравненно более жестокое противодействие цензуры, чем книги некоторых демократов и коммунаров, вроде П. Дюпона или Ж. Валлеса, вызвали произведения «певца люмпенпролетариата»—Жана Ришпена. «Внешний цинизм» поэта, на который неоднократно жаловались цензоры[8], весьма убедительно соединялся в их представлении с социальным нигилизмом поэта и приводил их к логическим выводам: «Автор... выражает миросозерцание французских босяков и бродяг на вопросы социальные и религиозные. При этом он не стесняется взывать к вражде классов... В своем предисловии автор откровенно сознается, что книга его... не имеет фигового листка»[9]. Перевод стихотворения Ришпена «Песня нищих детей», помещенный в журнале «Наблюдатель» (1883, № 4), признан был «неудобным» в цензурном отношении, как возбуждающий «ненависть против сытых и угрозу поджогом со стороны голодных», и, вместе с другими материалами, послужил основанием для первого предостережения журналу[10].

Перечень разительных несоответствий в общих литературных и исторических оценках писателей с их оценкой в царской цензуре можно было бы значительно увеличить и расширить: вспомним, например, замечания наши об оценках, дававшихся французской литературе николаевской цензурой, и т. д. Царская цензура в течение десятилетий создавала свою собственную историю литературы, далеко не похожую на общеизвестную, отличавшуюся и оценками, и выводами, и характеристиками; с отдельными страницами и даже главами этой истории литературы знакомит настоящая публикация. Раз установившиеся репутации почти не подвергаются в дальнейшем пересмотру, несколько меняется лишь, обновляется, в соответствии с новыми политическими обстоятельствами, фразеология, смысл же ее остается неизменен. Единичные попытки как-то изменить существо установившейся оценки, как правило, остаются безрезультатными; вспомним, например, любопытную и совсем не трафаретную в цензурном смысле оценку творчества Золя в докладе цензора Никольского.

Устанавливая (с отмеченными поправками) наличие особого цензурного трафарета в подходе к литературным явлениям, утверждая существование особой, цензурной точки зрения на литературу, публикуемые нами материалы позволяют ответить еще на один существенный и небезынтересный вопрос—о степени зависимости цензурных мнений и приговоров от общественного мнения, в частности, от литературной критики. A priori следовало бы подозревать теснейшую и непосредственную связь цензуры с верхушкой правящих классов дворянско-помещичьей России и близкую зависимость ее решений от вкусов и настроений последних. Подобный априорный вывод, однако, практически далеко не всегда подсказывается наличным материалом. Как учреждение сугубо полицейско-бюрократическое, царская цензура сплошь да рядом отражала беглые, совершенно случайные настроения разного рода «начальств», допуская отдельные послабления, либо, наоборот, усиливая свою «бдительность» там, где это отнюдь не вызывалось необходимостью.

Небольшой эпизод иллюстрирует это положение. 26 октября 1886 г. начальник Главного управления по делам печати, Е. М. Феоктистов, обратился к А. Н. Майкову со следующим письмом:

«Некий господин Татищев, очень талантливый, перевел драму В. Гюго «Эрнани». Фридберг предложил запретить ее по политическим соображениям—потому что на сцене заговор против короля с целью убить его, потому что у нас по-русски не давали пьесы Гюго и в прежнее время, особенно же это неудобно теперь, когда демократическая партия возвела его в ранг божества. Я колебался и готов был скорее согласиться с Фридбергом, но мне не дают покоя разные ходатайства в пользу Татищева. Даже правительственные лица, вроде Плеве, являются его защитниками. Надо еще раз пересмотреть пиесу, но на свой собственный суд я не вполне полагаюсь. Знаю, что я поступаю бессовестно, уж чересчур бесцеремонно решаясь утруждать вас делом, которое не входит в сферу ваших служебных занятий. Но вы такой добрый и снисходительный человек! Окажите мне, пожалуйста, личную услугу, прочтите прилагаемую пиесу,—прочтите ее без всякой предвзятой мысли и соблаговолите переговорить со мной. Переводчик готов исключить в ней некоторые места, если они окажутся особенно предосудительными. На приговор ваш я положусь как нельзя более, при этом считаю не лишним вас уверить, что решительно никто не узнает, что я обращался к вам»[11].

Вряд ли приходится сомневаться, что, не будь этого письма, не будь ходатайства Плеве, не возьмись за перевод «Эрнани» С. С. Татищев, имевший «связи» человек,—не будь всего этого, перевод был бы попросту запрещен без каких-либо даже серьезных мотивировок.

С другой стороны, те материалы, которые приведены нами выше, например, о Жорж Санд, отчасти о Беранже и о том же Гюго, позволяют утверждать, что особо пристальное специфическое внимание царской цензуры к их произведениям, в значительной степени, поддерживалось и питалось отзывами критики и—шире—тем вниманием, какое они вызывали у современного читателя. Массовость читателя при этом играла далеко не первую, не самую важную роль, особенно при Николае I, когда твердо усвоено было мнение царя, что «и архиереям не всё следует читать», когда цензура со всей внимательностью и строгостью цензировала даже иностранные книги, шедшие в адрес царской фамилии, т. е. в заведомо «благонадежные» руки.

Из всего этого мы можем сделать, наконец, еще один вывод, о котором, впрочем, упоминали уже в наших предварительных замечаниях: о необходимости для историка, для исследователя, привлекающего материал цензуры, рассматривать этот материал в теснейшей связи со всеми сопутствующими ему обстоятельствами, ни в коем случае не брать его самого по себе, изолированно, так как в таком случае он, в сущности, утрачивает всякое значение и даже, как иллюстрация, может только исказить исторический контекст.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год», СПб. 1862, стр. 46.

[2] Там же, стр. 59.

[3] А. В. Никитенко, «Записки и дневник», т. I, СПб. 1905, стр. 240—241.

[4] «Русская Старина», 1903, № 3, стр. 572—573.

[5] «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год», СПб. 1862, стр. 241.

[6] Там же, стр. 207.

[7] «Голос Минувшего», 1916, № 12, стр. 147—148.

[8] Напр., А. Н. Майков в своем докладе (январь 1877 г.) по поводу книги Ришпена «La chanson des gueux» подчеркивал, что речь должна итти не только об отдельных стихах, им отмеченных, так как «общее направление автора в означенных местах только превзошло границы всякого приличия, оставаясь господствующим тоном в бóльшей части стихотворений этого автора» (СПб. к-т ценз. иностр., рапорты за 1877 г., № 1).

[9] Речь идет о новом издании той же книги «La chanson des gueux» (Paris, 1909); см. доклад цензора А. Плетнева 30 декабря 1909 г. (Центр. к-т ценз. иностр., рапорты за 1910 г., № 324).

[10] Главное управление по делам печати, журналы заседания совета за 1883 г., №№ 9, 10, 12.

[11] ИРЛИ, архив Майковых. Цензорский отзыв о переводе Татищева см. выше, в очерке, посвященном В. Гюго.